АЛЕКСАНДР ФРОСТ

МОРОЗ ИДЁТ ПО СЛЕДУ

МОСКВА



ТОМ 2

Александр Фрост

Мороз идёт по следу. Том 2. Москва

«Автор»
2026

Фрост А.

Мороз идёт по следу. Том 2. Москва / А. Фрост — «Автор», 2026

Январь 1914 года. Морозова убрали из Петербурга — формально с повышением, по существу подальше от дела, в котором он подобрался слишком близко. В Москве не любят присланных, и новому по обычаю сдают самое дрянное: женщину, три года пролежавшую в земле за Лазаревским кладбищем. За три года он раскроет то, что до него лежало годами: старое убийство, опознанное по клейму на подошве; серию смертей у трёх вокзалов, где убивали тех, кого не станут искать; пятерых солдат-выздоравливающих, умерших оттого, что их положили к окну; убийство, совершённое под прикрытием погрома; двадцать четыре ребёнка, вывезенных из беженских общежитий по шести железнодорожным требованиям. И всё это время у него в столе будет лежать бумага о проверке его личности, а в паспортной книжке — особая примета, которой у него нет. За Уралом его ждут ответы: человек, который сто пятьдесят три года не стареет, дом, где живут те, кто видит то же, что и он, и...

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 51 6
Глава 52 11
Глава 53 17
Глава 54 22
Глава 55 28
Глава 56 34
Глава 57 40
Глава 58 45
Глава 59 51
Глава 60 56
Глава 61 62
Глава 62 67
Конец ознакомительного фрагмента. 68

Александр Фрост
Мороз идёт по следу. Том 2. Москва

Глава 51

Книга одиннадцатая. Невыслушанная

Москва встретила его колокольным звоном и запахом печного дыма.

Морозов вышел на перрон Николаевского вокзала в восьмом часу утра двадцать первого января, с чемоданом в правой руке — левой он поднимать не мог, зашитый бок держал крепко, — и первое, что он отметил, было небо.

В Петербурге небо лежало на крышах. Здесь оно стояло выше, и на нём с семи часов гудели колокола: сорок сороков, о которых он читал в чужих книгах в чужом веке.

Второе, что он отметил, была толпа. Она двигалась иначе: медленнее, вразвалку, задевая плечами и не извиняясь.

Третье он сформулировал уже на извозчике, глядя, как проплывают мимо Красные ворота: этот город не расчерчен. Петербург он выучил за месяц, потому что Петербург — план: линии, проспекты, углы. Москва расходилась кругами, кривыми и переулками, и всякая улица тут норовила загнуться и выйти не туда, куда собиралась.

«Год, — подумал Морозов. — Мне на этот город понадобится год».

Года у него не было. У него было четыре месяца до мая.

Московская сыскная полиция помещалась в Малом Гнездниковском переулке, и Морозов явился туда двадцать второго января, к десяти утра, с предписанием, формулярным списком и замечанием в этом списке.

Принял его начальник отделения, статский советник Аркадий Ильич Пересветов, — человек лет пятидесяти пяти, круглый, румяный, с ласковыми глазами и с той особенной московской обходительностью, за которой у людей его должности обыкновенно прячется что-нибудь холодное.

— Ну-с, — сказал он, дочитав бумаги. — Александр Петрович. Садитесь, чайку?

— Благодарю.

— И правильно, у нас чай хороший, не то что в столице. — Пересветов позвонил, велел подать и снова взялся за формуляр. — Семь дел за год, все с обвинительным актом, ни одного возврата от прокурорского надзора. Похвально, весьма похвально. Замечание с занесением: ненадлежащее хранение вещественного доказательства.

Он поднял глаза.

— И перевод с производством в чин.

— Так точно.

— Александр Петрович, — сказал Пересветов совершенно ласково. — Я двадцать девять лет служу. Чиновников, которых переводят в Москву с повышением через три недели после замечания, я на своём веку видел четверых. И все четверо, скажу вам по чести, приезжали сюда не за тем, чтобы служить.

— А за чем?

— За тем, чтобы их не было там, — сказал начальник отделения и улыбнулся. — Так что давайте условимся сразу и без обиды: я не знаю, что у вас там вышло, и знать не желаю. Мне довольно того, что вы работник. Работайте — я вас не трону. Начнёте мне тут заводить петербургские порядки — прощайтесь.

— Не заведу, — сказал Морозов.

— Вот и славно. — Пересветов допил чай. — Стол вам дам с марта, когда освободится. Покамест пойдёте чиновником для поручений при третьем столе, к Луковникову. И, Александр Петрович, ещё одно.

— Слушаю.

— У нас не любят присланных, — сказал он. — Особенно из Петербурга. Особенно с чином. Это вам скажет всякий, кто тут служит, но никто не скажет в лицо, оттого я и говорю. Вам месяца три будут сдавать самое дрянное. Не обижайтесь: это не подлость, это обычай.

Обычай Морозов узнал на второй день.

Московское сыскное отделение оказалось и похоже, и не похоже на петербургское.

Похоже — потому что везде, во всяком веке, отделение полиции устроено одинаково: коридор, шкафы с делами, запах сургуча и мокрого сукна, писарь, у которого всегда не хватает бумаги, и сторож, который знает больше начальника.

Не похоже — потому что здесь всё было теснее, шумнее и семейнее. В Петербурге чиновники сидели по столам и обращались друг к другу по имени-отчеству. Здесь через открытые двери кричали из комнаты в комнату, пили чай прямо на делах и звали друг друга «Ильич», «Матвеич», «Сашка».

Здесь же, в первый день, Морозов услышал в коридоре про себя: «Питерского прислали. С чином и с замечанием. Стало быть, проворовался».

Он прошёл мимо, не повернув головы, и записал себе на будущее: опровергать не пробовать.

Прежде того он устроился.

Квартиру он снял в Печатниковом переулке, у вдовы-чиновницы, — две комнаты в третьем этаже, окнами во двор, восемнадцать рублей с дровами. Выбирал не по цене и не по удобству: он обошёл семь адресов и взял тот, где было две двери — парадная и чёрная — и где чёрная выходила не во двор-колодец, а в проходной двор с выходом в другой переулок.

Хозяйке он объяснил это тем, что по службе иногда возвращается ночью и не хочет тревожить дом.

В первый же вечер он повторил то, что делал в Петербурге: приклеил нитку хлебным мякишем поперёк дверной щели у нижней петли и записал в тетрадь расстояние от чемодана до щербины в половице.

Микроскоп Штейна он поставил на подоконник и накрыл полотенцем.

Тетрадь, две костяные пуговицы и выписку из дневника горного инженера убрал в ящик стола и запер, а ключ стал носить на шее, на шнурке, — тоже привычка нового года.

Письма пошли с первой недели.

Дроботов написал через шесть дней — на трёх страницах, полууставом, с ятями не там, где надо. Писал он о том, что в отделении всё по-старому, что нового чиновника в стол Морозова ещё не дали, что Мохов сидит и молчит, а фельдшер Дементьев в тюремной больнице учит арестантского фельдшера ставить банки. В конце было приписано: «А погода у нас, Александр Петрович, сырая, и я, признаться, скучаю».

Штейн написал через десять дней, полстраницы, по-немецки точно: заключение по ране Морозова отправлено куда следует; Пахом определён служителем и, вопреки ожиданиям, оказался толков; в прозекторской заведены новые весы; «пишите про ваших покойников, а мне писать не о чем, у меня их триста в год и все скучные».

Бекетов написал дважды, оба раза по делу, оба раза на казённой бумаге и оба раза кончил одинаково: «Прошение моё лежит; вакансия ожидается в марте».

Свешников не написал ни разу, и это было правильно.

Морозов отвечал всем, кроме одного человека. Стеше он не писал, потому что она просила, и потому, что она была права.

А на второй день ему сдали дело о неизвестной.

Дело было в трёх листах и лежало с ноября.

Восемнадцатого ноября тринадцатого года в Марьиной роще, на пустыре за Лазаревским кладбищем, при рытье канавы под водопровод, был обнаружен труп женщины, пролежавший в земле, по мнению врача, от двух до четырёх лет.

Осмотром установлено: женщина лет тридцати — сорока; рост два аршина пять вершков; на костях черепа справа, в височно-теменной области, повреждение, произведённое тупым орудием. Одежды сохранилось мало: остатки шерстяного платья тёмного цвета, обувь — ботинки с пуговицами, дамские, дорогие. При покойной обнаружены: гребень черепаховый, серьга одна, золотая, с камнем.

Личность не установлена. Розыск по без вести пропавшим за девятьсот девятый — двенадцатый годы результатов не дал.

— Вот, — сказал чиновник Луковников, худой и желчный человек лет сорока, передавая ему папку. — Пользуйтесь. Кости в Лефортовском анатомическом, вещи в шкафу. Дело, знаете, безнадёжное: три года в земле, лица нет, документов нет.

— Отчего же его не прекратили?

— А оттого, — сказал Луковников с удовольствием, — что убийство. Прекратить убийство нельзя, его можно только приостановить, а приостанавливать по нашему отделению не любят: это в отчёт идёт. Так оно и лежит: не прекращено, не приостановлено, а вроде как в производстве. У нас таких три.

— И все три достанутся мне?

— И все три достанутся вам, — согласился Луковников без всякого стеснения. — Александр Петрович, вы не обижайтесь. Я тут восьмой год, и мне их тоже сдавали, когда я приехал из Костромы. Такой порядок: новому — старое.

— А ежели новый его раскроет?

Луковников засмеялся — коротко и невесело.

— Тогда, — сказал он, — новому станут сдавать не старое, а трудное. И вы, поверьте, ещё вспомните это дело с нежностью.

Морозов взял папку.

Три листа — это было даже меньше, чем он рассчитывал. Протокол осмотра места, заключение врача на полстраницы и справка о том, что по спискам без вести пропавших женщина не значится.

Он прочёл всё трижды и пошёл смотреть вещи.

Прежде того, впрочем, он сделал ещё одно — то, что откладывал с самого приезда.

Он сел и написал письмо в губернию.

Письмо было казённое и совершенно невинное: чиновник для поручений Морозов А. П. просит губернское сыскное отделение выслать ему копию его собственного послужного списка «ввиду перемещения к новому месту службы и необходимости иметь при себе полные сведения».

Смысл был не в списке. Смысл был в том, чтобы узнать, пришёл ли уже туда запрос из департамента и что по нему делается: канцелярия, отвечая на его просьбу, почти наверняка обмолвится.

Он отправил письмо и стал ждать.

Ответ мог прийти через три недели. Запрос департамента, по словам Гельмерсена, уходил в конце января, а ответ на него — в феврале или марте.

Он не знал, что там найдут. Он знал одно: в губернии лежит метрическая выпись о рождении Морозова Александра Петровича, и лежит формулярный список с приметами — рост, цвет глаз, особые приметы, — и что человек, чьё имя он носит, был на полвершка ниже и имел на левом предплечье шрам от ожога, которого у него нет.

Полвершка можно списать на ошибку писаря.

Шрам списать нельзя.

Вещи лежали в шкафу, в картонной коробке, и было их четыре. Морозов разложил их на столе и просидел над ними до вечера.

Ботинки. Дамские, на пуговицах, с высоким голенищем. Кожа лопнула и покоробилась, но подошва сохранилась, и на подошве, под каблуком, стояло клеймо: «Т-во А. Гандшу и Кº. Москва».

Гребень черепаховый, простой, каких в год продают тысячи.

Серьга. Золотая, с гранатом, работы недорогой, но чистой. Одна, левая.

И четвёртое, чего в описи не значилось, потому что описывавший счёл это мусором: комок ссохшейся ткани, оказавшийся при осторожном разворачивании остатком кармана, а в кармане — плоская металлическая пластинка, размером с половину визитной карточки, погнутая, с дырочкой в углу.

Морозов очистил её ножом и поднёс к лампе.

На пластинке была штампованная надпись и номер.

«Московскія городскія бойни. № 1147».

Он положил её на стол и посидел над ней минуту.

Служебный номерок с городских боен — жетон, какие выдают рабочим при найме и по каким их пускают в ворота.

При женщине в дорогих ботинках от хорошего мастера и в шерстяном платье.

— Стало быть, — сказал Морозов вслух, — либо ботинки не её, либо номерок не её.

Он взял чистый лист и написал наверху: «По делу о неизвестной, обнаруженной в Марьиной роще».

Прежде списка дел он съездил в Лефортово — смотреть то, что осталось от самой женщины.

Анатомический театр встретил его молодым прозектором в белом халате, который выслушал просьбу с явным удивлением.

— Из сыскного? По ноябрьским костям? — Он поднял брови. — Милостивый государь, за ними никто не приходил три месяца.

— Пришли, — сказал Морозов.

Кости лежали в ящике, разложенные по номерам. Молодой прозектор, оживившись, показывал охотно: вот повреждение височной кости, вот характер края — удар нанесён при жизни, орудием тупым, с ограниченной поверхностью, вроде обуха или гири.

— Возраст?

— По швам черепа и по зубам — от тридцати до сорока. Ближе к тридцати пяти.

— Рожала?

Прозектор посмотрел на него с уважением.

— Вот это вопрос по делу, — сказал он. — По тазовым костям — да, и не однажды. Двое, а то и трое.

Морозов записал.

Женщина тридцати пяти лет, родившая двоих или троих, в дорогих ботинках, с золотой серьгой и с жетоном городских боен в кармане, три года лежала в земле за Лазаревским кладбищем, и никто её не искал.

— Ещё что-нибудь?

— Ещё, — сказал прозектор и вынул из ящика левую бедренную кость. — Извольте: старый перелом, сросшийся неправильно. Годов за десять-пятнадцать до смерти. Она хромала, милостивый государь. Заметно хромала.

Морозов вернулся в отделение и первой строкой в списке написал уже другое:

«Женщина, хромающая на левую ногу».

Дальше пошли пункты:

«Установить: 1) по какому мастеру шиты ботинки и в какие годы; 2) кому в 1909–1912 гг. выдавался жетон № 1147; 3) имеются ли по московским частям заявления о безвестном

отсутствии женщин 30–40 лет, не вошедшие в общие списки; 4) хромающая женщина — по больницам, где лечили перелом бедра в 1895–1900 гг.».

Третий пункт он подчеркнул дважды.

За год в Петербурге он выучил простую вещь: людей, о пропаже которых не заявляли, не бывает. Бывают заявления, которые не приняли, потеряли или не сочли нужным заносить в общий список — потому что заявительница была прислуга, или еврейка, или содержательница дурного дома, или потому, что дело происходило в декабре и у пристава болела голова.

Женщина, пролежавшая три года в земле за Лазаревским кладбищем и не значащаяся ни в одном списке, была не безымянной.

Она была невыслушанной.

Надзирателя ему дали на третий день, и дали, как он понял с первого взгляда, по тому же обычаю, по какому дали дело.

Спиридон Афанасьевич Гвоздёв был высок, сутул, лет пятидесяти, с длинным унылым лицом и с манерой отвечать на всякий вопрос так, чтобы из ответа ничего не следовало.

— Спиридон Афанасьевич, вы Марьину рощу знаете?

— Как не знать.

— Хорошо знаете?

— Всяко бывает.

— Кто там из ваших может помнить девятьсот десятый — одиннадцатый годы?

— Люди-то? — Гвоздёв подумал. — Люди помнят.

Морозов посмотрел на него и понял, что этот человек за год работы при столе Луковникова выучился главному московскому искусству: не сказать ничего, за что после спросят.

— Спиридон Афанасьевич, — сказал он. — Давайте условимся. Я в Москве шестой день. Я здесь никого не знаю и ничего не понимаю, и вы это видите. Через месяц я разберусь, а до тех пор буду делать глупости. Так вот: я вас прошу меня останавливать. Не молчать, а говорить: Александр Петрович, тут так не делают.

Гвоздёв посмотрел на него с осторожным удивлением.

— А ежели вы обидитесь?

— Обижусь один раз, — сказал Морозов. — А если промолчите — испорчу дело, и его закроют, и оно снова ляжет на три года. Вам это дело зачем-нибудь нужно?

Надзиратель помолчал.

— Мне-то? — сказал он. — Я, ваше высокоблагородие, при том деле состоял в ноябре, когда её выкопали. Я её из ямы своими руками принимал. — Он поглядел в сторону. — Я тогда сказал приставу: надо по мастерским башмачным пройти, по клейму-то. А он мне сказал: Гвоздёв, ты в уме? Три года в земле. Пиши «личность не установлена» и ступай.

Морозов положил ботинок на стол между ними.

— Пройдём по мастерским, Спиридон Афанасьевич?

Гвоздёв взял ботинок в руки — осторожно, за голенище, — повертел, посмотрел на клеймо.

— Пройдём, — сказал он.

Глава 52

Товарищество «А. Гандшу и К⁰» держало обувную мастерскую на Кузнецком, и держало её сорок лет.

Приняли их в конторе — не хозяин, хозяин был в отъезде, а старший закройщик, немолодой чех по фамилии Веселы, служивший при мастерской двадцать два года.

Морозов положил перед ним ботинок.

Веселы взял его в руки так, как Штоль брал пуговицу: двумя пальцами, к свету, и лицо у него сделалось внимательное.

— Наш, — сказал он. — И работа наша, и колодка. Только это, милостивый государь, не готовый товар. Это заказ.

— Чем отличается?

— Всем, — сказал закройщик. — Готовое мы шьём на десяти колодках, и подъём у них общий. А тут — глядите. — Он повернул ботинок. — Правый и левый разной высоты в голенище. На четверть вершка. Так делают, когда у заказчицы ноги неодинаковы.

Морозов и Гвоздёв переглянулись.

— Хромая, — сказал Гвоздёв.

— Хромая, — согласился Веселы. — И, я вам скажу, хромала она изрядно, коли пришлось голенище равнять.

— Заказы вы записываете?

— Двадцать два года.

— Найдёте?

Веселы посмотрел на подошву, поскрёб ногтем клеймо, поднёс к самому носу.

— Клеймо старое, — сказал он. — Такое ставили до девятьсот десятого; после мы переменили штамп, у нас с десятого года с ером на конце. Стало быть, шито до десятого. — Он подумал. — Дайте мне два дня и оставьте ботинок.

— А заказчицу вы, случаем, не вспомните? — спросил Гвоздёв без всякой надежды.

Закройщик поднял на него глаза.

— Хромую? — сказал он. — Может, и вспомню. Их у меня за двадцать два года было не так много: хромые в дорогую мастерскую редко ходят, они у сапожника во дворе шьют. А эта пришла с мужем, и мужу это, я помню, не нравилось.

— Отчего не нравилось?

— Оттого, что дорого, — сказал Веселы. — Он в конторе торговался, а она стояла и молчала. Я тогда подумал: странный человек — на сапоги для жены жалеет, а сам в шубе.

Морозов записал и эту деталь, хотя цена ей в суде была ноль.

Он записал её потому, что за год выучился: дело раскрывается уликами, а понимается вот такими мелочами.

Через два дня в отделение пришёл мальчик из мастерской с запиской.

«Милостивый государь. Заказъ найденъ. Книга за 1908 годъ, октября 14 дня, № 2211. Заказчица: Кислякова Дарья Никитина, проживающая Мѣщанская часть, домъ Зуева. Сапоги дамскіе на пуговицахъ, съ выравниваніемъ голенища, 11 р. Уплачено сполна. А. Веселы».

Морозов прочёл записку дважды и положил на стол.

Пять дней в производстве.

Дело, пролежавшее три месяца с надписью «личность не установлена», обзавелось фамилией через пять дней после того, как его открыл человек, догадавшийся посмотреть подошву.

— Спиридон Афанасьевич, — сказал он, — а отчего в ноябре по мастерским не пошли?

Гвоздёв пожал плечами.

— Пристав сказал: три года в земле, кто ж по башмаку найдёт.

— А вы?

— А я, ваше высокоблагородие, надзиратель, — сказал Гвоздёв. — Мне сказали — я пошёл. Мне не сказали — я не пошёл.

Он сказал это спокойно, без вызова, и Морозов вдруг понял, что за этой формулой у человека стоит не лень, а тридцать лет службы, в которой инициатива наказуема вернее ошибки.

— Спиридон Афанасьевич, — сказал он. — Я вам буду говорить. Всякий раз. И вы будете ходить. Но я вас прошу об одном: когда вы будете видеть, куда надо идти, — говорите мне сами. Я вам за это не сделаю ничего дурного. Я вам за это буду благодарен.

Гвоздёв посмотрел на него длинно и ничего не ответил.

Но на другой день сам принёс два адреса по жетону.

Городские бойни стояли за Серпуховской заставой — огромное хозяйство, целый город из кирпича, с загонами, с холодильниками, с конторой, с собственной железнодорожной веткой и с восемью сотнями рабочих.

Пахло там так, что Гвоздёв с непривычки закурил, а Морозов, привычный к прозекторским, отметил про себя, что запах смерти в промышленных количествах отличается от запаха смерти по одному человеку не качеством, а тем, что к нему быстро привыкают.

Жетон принял конторщик — молодой человек в нарукавниках — и, повертев, сказал:

— Наш. Тысяча сто сорок седьмой. Только он не рабочий.

— То есть?

— Рабочим у нас номера с двух тысяч, — сказал конторщик. — А тысячные — это прочие: возчики, поставщики, при боенской лавке, скупщики субпродукта. Их пускают по особому списку.

— Найдёте по списку?

Нашли за час.

Жетон № 1147 значился за Кисляковым Фомой Игнатьевым, скупщиком боенского субпродукта, выданный в девятьсот седьмом году и не возвращённый.

Кисляков.

— А самого Кислякова знаете? — спросил Морозов.

— Как не знать, — сказал конторщик. — Он у нас всякий день. Человек известный: начинал с одной подводы, а нынче у него четыре и лавки.

— Каков он?

Конторщик замялся — так замялись бы, вероятно, во всякой конторе на вопрос о человеке, который платит исправно.

— Строгий, — сказал он наконец. — С рабочими крут. Но дела ведёт честно, за ним по конторе долгов нет.

— Пьёт?

— Нет.

— Дерётся?

— Помилуйте, он же не с Хитровки.

— Я спрашиваю не о том, с Хитровки ли, — сказал Морозов. — Я спрашиваю, случалось ли, чтоб он поднял руку.

Конторщик посмотрел в сторону.

— Раз было, — сказал он тихо. — В прошлом году. С возчиком поспорил из-за расчёта и ударил его весами. Гирей. Тот в больнице лежал две недели, а после взял с него двадцать пять рублей и дело кончилось миром.

— Запись есть?

— В конторе есть, — сказал конторщик. — По увечью на территории мы обязаны.

Морозов взял выписку и, выйдя на воздух, посмотрел на Гвоздёва.

— Гиря, — сказал надзиратель. — Ваше высокоблагородие, а у нас в заключении что сказано? Орудие тупое, с ограниченной поверхностью.

— Вроде обуха или гири, — сказал Морозов.

— Стало быть, муж, — сказал Гвоздёв. — Только вы, ваше высокоблагородие, не спешите. Гиря — она в конторе у весов лежит, ею всякий второй мясник кого-нибудь да пугал. У нас на бойнях народ такой.

— Не спешу, — сказал Морозов. — Я эту запись беру не как улику, а как ответ на вопрос, который мне зададут в суде: а способен ли обвиняемый ударить человека тяжёлым предметом по голове? Вот и ответ, за подписью конторы.

— Стало быть, муж, — сказал Морозов. — И, Спиридон Афанасьевич, заметьте: жетон мужа лежал у неё в кармане.

Дом Зуева в Мещанской части оказался большим доходным домом в четыре этажа, с двумя дворами и с той особенной московской населённостью, при которой в одном доме умещается и купеческая семья с бельэтажем, и восемь прачек в подвале.

Кисляковых там не было.

Дворник, служивший при доме одиннадцатый год, помнил их, однако, отлично.

— Как не помнить, — сказал он. — Фома Игнатьич с Дарьей Никитишной. Жили в третьем этаже, во дворе. Он по боенской части, скупал требуху, сычуг, кишки — на колбасные заводы возил. Дело шло. И лавочку они держали тут же, на углу.

— Когда съехали?

— А они не съезжали, — сказал дворник. — Она пропала, а он после съехал.

Морозов и Гвоздёв стояли посреди двора, и падал редкий снег.

— Расскажи, — сказал Морозов.

Рассказ занял четверть часа и вышел путаным, как всегда выходят рассказы через три года.

Дарья Никитична пропала осенью — не то в десятом году, не то в одиннадцатом. Как пропала, никто не видел: жили тихо, детей было трое, старшему годов двенадцать. Фома Игнатьич сказал соседям, что жена уехала к родне в Тверскую губернию, к матери, и с той поры не возвращалась.

— Долго не возвращалась?

— Да навсегда, — сказал дворник. — С полгода он говорил: у матери, хворает. А после сказал: не воротится, живёт там.

— И никто не спрашивал?

— А кому спрашивать? — удивился дворник. — Соседи спрашивали, он отвечал. Она баба-то была тихая, хромая, из дому мало ходила. Её и не видал никто толком.

— Заявлял он о пропаже?

— Так ведь не пропадала она, — терпеливо объяснил дворник. — Уехала. Что ж о том заявлять.

Морозов записал.

Вот и весь ответ на третий пункт его списка. Заявления о безвестном отсутствии не было — потому что никто не считал её пропавшей. Муж сказал, что уехала к матери, и это объяснение прожило три года и умерло только сейчас, во дворе дома Зуева, при редком снеге.

Соседок он обошёл в тот же день — восемь квартир в третьем и четвёртом этажах, — и на восьмой получил то, чего не дал дворник.

Хозяйка квартиры в четвёртом этаже, женщина лет шестидесяти, прожившая в доме двадцать лет, сказала, поджав губы:

— Уехала. Ну-ну.

— Вы не верите?

— А я, милостивый государь, Дарью Никитишну знала восемь лет, — сказала она. — Она к матери ездила раз в год, на Троицу, и всякий раз плакала перед отъездом, потому что боялась детей оставить. Она без детей никуда. А тут — уехала осенью, детей бросила и не воротилась?

— Вы это кому-нибудь говорили?

— Говорила. Соседкам. Меня и на смех подняли: не суйся, у людей своя жизнь.

— А в полицию?

Она посмотрела на него так, как смотрят на человека, задавшего непристойный вопрос.

— В полицию, — повторила она. — А с чем бы я пошла? Сказать, что баба уехала, а мне это не нравится?

Морозов записал и подчеркнул, потому что вот оно и было ответом на вопрос, отчего женщину три года никто не искал.

Её искали. Только не там, где ведут журналы: её искали на кухнях, вполголоса, и, поискав, замолчали.

— Куда съехал Кисляков?

— На Божедомку, — сказал дворник. — С год как. Он теперь в силе: у него две лавки и лошади свои.

— Женат?

— Женат, — сказал дворник. — Второй год. На Аграфене Тимофеевне, она у них при детях жила, нянькой.

Гвоздёв крякнул.

Морозов ничего не сказал. Он смотрел на окна третьего этажа во дворе, за которыми три года назад жила хромая женщина, о которой все знали, что она уехала к матери.

Вечером он написал в тверское губернское жандармское управление и в тверскую полицию два запроса: о розыске Кисляковой Дарьи Никитиной, урождённой такой-то, и о том, проживает ли она либо проживала ли когда-нибудь в означенной губернии у матери.

И третий запрос — в московскую духовную консисторию, о выдаче копии метрической записи о браке Кислякова Фомы Игнатьева, заключённом вторично.

Пересветову он доложил на другое утро.

Начальник отделения выслушал, помешивая чай, и на середине доклада перестал мешать.

— Погодите, — сказал он. — Ноябрьская неизвестная? Из Марьиной рощи?

— Так точно.

— Которая три месяца лежала как неустановленная?

— Так точно.

— И вы её установили за неделю.

— За шесть дней, — сказал Морозов. — И установил не я, а закройщик мастерской Гандшу, который двадцать два года ведёт книгу заказов.

Пересветов посмотрел на него — уже без ласковости, а тем внимательным взглядом, каким смотрят на инструмент, оказавшийся острее, чем думали.

— Александр Петрович. Вы понимаете, что вы сейчас сделали?

— Понимаю, — сказал Морозов. — Я показал, что дело можно было раскрыть в ноябре.

— Именно, — сказал начальник отделения. — И в ноябре его вёл пристав Мещанской части, а надзирал за производством чиновник Луковников. — Он отставил стакан. — Так что не удивляйтесь, ежели с завтрашнего дня у вас пропадут со стола бумаги, а Гвоздёв заболеет.

— А что мне делать?

— Работать, — сказал Пересветов. — И носить бумаги с собой. Вы, я вижу, человек не наивный, оттого я вам и говорю прямо: я вас прикрою, покуда вы приносите раскрытия. Такой в Москве обычай, он не хуже и не лучше петербургского.

Он оказался прав в первом и ошибся во втором.

Бумаги со стола Морозова действительно пропали — на третий день исчезла копия записки Веселы, и он был этому даже рад, потому что подлинник с самого начала носил во внутреннем кармане.

А Гвоздёв не заболел.

Он, напротив, стал приходить раньше и однажды принёс, не дожидаясь просьбы, справку о боенских порядках: как выдают жетоны, кто из скупщиков когда получал приход и сколько платит в контору.

— Это зачем? — спросил Морозов.

— А затем, — сказал Гвоздёв, — что у Кислякова в девятьсот десятом было приходу на четыреста рублей в год, а в двенадцатом — на две тысячи триста. Он, ваше высокоблагородие, разбогател аккурат после того, как жена уехала к матери.

Морозов посмотрел на надзирателя с удовольствием.

— Спиридон Афанасьевич. Вы это сами придумали?

— Сам, — сказал Гвоздёв и отвернулся. — Я, знаете, три месяца ту яму во сне видел. Она там на боку лежала, скрючившись. Её ведь как хоронили-то — не хоронили вовсе, а в канаву кинули и снегом закидали.

Возвращаясь в тот вечер в отделение, Гвоздёв сказал вдруг сам, без вопроса:

— Ваше высокоблагородие. Вы, стало быть, полагаете, что муж.

— Полагаю.

— И я полагаю, — сказал надзиратель. — Только вы имейте в виду: он теперь человек с достатком. У него две лавки и приход в боенской конторе. Такого брать — это не с Хитровки бродягу.

— Знаю.

— И ещё, — сказал Гвоздёв и остановился. — Я вам одно скажу, Александр Петрович, и вы уж не обижайтесь. У нас в Москве такие дела так не ведут.

Морозов остановился тоже.

— А как ведут?

— Никак, — сказал Гвоздёв. — Три года прошло. Свидетелей нет. Костей опознать нельзя. Он скажет: уехала, а что дальше было — не знаю. И всё.

— Кости опознать можно, — сказал Морозов.

— Как?

— По ботинкам, по жетону и по сломанной ноге, — сказал Морозов. — Но этого мало, вы правы. Оттого мы с вами и будем искать не то, что было в тот день, а то, что было после.

— После?

— После, Спиридон Афанасьевич. Человек, который убил жену и сказал, что она уехала, три года подряд должен эту ложь кормить. Он должен объяснять, отчего она не пишет. Отчего не приезжает на Пасху. Отчего не хоронит собственную мать, когда та умрёт. — Морозов пошёл дальше. — Ложь, которую держат три года, обрастает подробностями, как днище ракушками. Вот их мы и будем сдирать.

— С чего начнём?

— С самого простого, — сказал Морозов. — С писем.

— Каких писем?

— Тех, которых нет, — сказал Морозов. — Спиридон Афанасьевич, у неё в Тверской губернии мать. Ежели дочь три года живёт у матери — мать об этом знает. А ежели дочь три года как в земле, то мать все эти три года получает от зятя либо письма, либо деньги, либо молчание. И всякое из трёх нам что-нибудь да скажет.

Гвоздёв подумал.

— А ежели мать померла?

— Тогда, — сказал Морозов, — мы узнаем, кто её хоронил и приезжала ли дочь. И вот это, Спиридон Афанасьевич, будет самая тяжёлая улика во всём деле, тяжелее ботинка и жетона. Потому что в России, когда мать хоронят без дочери, об этом помнит вся деревня.

Глава 53

Ответ из Тверской губернии пришёл через одиннадцать дней и оказался длиннее, чем Морозов рассчитывал.

Уездный исправник, человек, судя по слогу, обстоятельный и не ленивый, сообщал следующее.

Кислякова Дарья Никитина, урождённая Прохорова, тридцати шести лет, в означенном уезде не проживает и с осени девятьсот десятого года не появлялась.

Мать её, крестьянская вдова Прохорова Аграфена Степанова, семидесяти двух лет, проживает в деревне Кузьминское того же уезда, жива, но слаба и почти слепа.

По опросу означенной Прохоровой установлено: дочь её Дарья в последний раз была у неё летом девятьсот десятого года, на Троицу, с младшим ребёнком. С той поры не приезжала и писем не писала.

От зятя же, Кислякова Фомы Игнатьева, получала за истекшие три года:

— деньги, три раза в год, по десяти рублей, при письме, писанном чужой рукой;

— в письмах сообщалось, что Дарья здорова, но занята при лавке и приехать не может;

— на просьбы прислать хотя бы строчку рукою самой Дарьи получала ответ, что дочь неграмотна.

Морозов остановился на этой строке и перечёл её три раза.

Дальше исправник, оказавшийся человеком не только обстоятельным, но и понимающим, приписал от себя:

«Присовокупляю, что означенная Прохорова, будучи мною опрошена, показала, что дочь её Дарья грамоте обучена, читать и писать умела и в первые годы замужества писала матери собственноручно, каковые письма Прохоровой сохранены и при семъ препровождаются въ числѣ четырёхъ».

Четыре письма были приложены.

Морозов разложил их на столе.

Бумага дешёвая, линованная. Почерк круглый, старательный, с наклоном, с ошибками — почерк женщины, выучившейся писать в церковноприходской школе и писавшей нечасто. Письма были за пятый, шестой, седьмой и девятый годы: про детей, про здоровье, про то, что Фома сердится на дороговизну, и про то, что нога опять разболелась к дождю.

Последнее письмо кончалось так:

«Мамынька дорогая ты пиши мнѣ хоть по строчкѣ. Мнѣ безъ вашего слова тяжело».

Морозов сложил письма и посидел молча.

Три года зять писал в деревню чужой рукой и объяснял слепой старухе, что её грамотная дочь неграмотна.

Он взял приложенные исправником конверты — их было три, за последние годы, — и посмотрел на почерк.

Рука была ровная, писарская, безличная: так пишут за пятак на почте, где для неграмотных сидит человек с пером. И на всех трёх конвертах штемпель был московский, но разных отделений: Мещанское, Сущёвское, при Крестовской заставе.

Стало быть, он не ходил дважды в одно место. Стало быть, понимал, что делает.

— Спиридон Афанасьевич, — сказал Морозов. — Вот теперь у нас есть дело.

Гвоздёв, читавший через плечо, отозвался не сразу.

— Ваше высокоблагородие, — сказал он наконец. — А ведь это не улика.

— Не улика, — согласился Морозов. — Это обман старухи, и за него не судят. Но это, Спиридон Афанасьевич, доказывает главное: он знал, что она не вернётся. Человек, у которого

жена уехала и живёт где-то, не пишет её матери, что жена неграмотна. Он бы просто не писал вовсе.

Дальше пошли будни, и будни оказались долгие.

Была, впрочем, и одна попытка сократить дорогу, и попытку эту предпринял не Морозов.

На второй неделе февраля Луковников, ознакомившись с производством по долгу старшего чиновника стола, высказался в присутствии Пересветова:

— Тут, Аркадий Ильич, всё ясно как день. Нянька. Жила при детях, метила в хозяйки, извела барыню и через полтора года обвенчалась. Классическое дело, у нас такие раз в год бывают.

Пересветов посмотрел на Морозова.

— Что скажете, Александр Петрович?

— Скажу, что версию надо проверить, — сказал Морозов. — И проверю.

Проверял он три дня и проверил основательно, потому что понимал: если не закрыть эту дорогу теперь, её откроют в суде.

Аграфена Тимофеевна Шибанова, тридцати одного года, крестьянка Рязанской губернии, поступила к Кисляковым в няньки в девятьсот девятом. Осенью девятьсот десятого — то есть в те самые недели, когда исчезла хозяйка, — она находилась не в Москве.

Она была в Рязанской губернии, в своей деревне, куда уехала в конце августа хоронить отца и где пробыла до Покрова, что подтверждалось: приходскими книгами, показаниями двух односельчан и — главное — тем, что Кисляков в сентябре нанимал вторую поденщицу к детям, о чём осталась запись в его же расходной книжке.

— То есть её не было, — сказал Пересветов, выслушав.

— Её не было, — сказал Морозов.

Луковников поджал губы.

— Тогда, стало быть, никого нет.

— Тогда, стало быть, остаётся муж, — сказал Морозов.

— У мужа алиби, — сказал Луковников с удовольствием. — Я справлялся. По боенской конторе за сентябрь и октябрь десятого года он числится ежедневно, с шести утра. Все дни подряд.

Морозов посмотрел на него.

— Иван Матвеевич, — сказал он. — Вы полагаете, что человек, убивший жену в собственной квартире вечером, наутро не выйдет на службу?

В комнате стало тихо.

— По моему опыту, — сказал Морозов, — выйдет непременно. И придёт раньше обычного, и будет весь день на виду, и после все скажут: он в те дни был как всегда. Люди думают, что убийца прячется. Убийца, Иван Матвеевич, показывается.

Три недели февраля ушли на то, что в его прежней жизни делалось запросом к машине, а здесь — ногами.

Морозов установил:

Что Кисляков Фома Игнатьев, сорока четырёх лет, крестьянин Богородского уезда, проживает в собственном доме на Божедомке, имеет две лавки, четыре подводы и приход по боенской конторе до двух с половиной тысяч в год.

Что первый брак его с Прохоровой Дарьей заключён в девятьсот первом году; детей трое: Николай четырнадцати лет, Марья одиннадцати и Пётр девяти.

Что второй брак заключён в мае девятьсот двенадцатого года с Аграфеной Тимофеевой Шибановой, тридцати одного года, — той самой нянькой, жившей при детях с девятьсот девятого.

И что для заключения этого брака требовалось одно, без чего никакая консистория венчать бы не стала.

Требовалось доказательство, что первая жена умерла.

Копию метрической записи о браке Морозов получил в консистории на третьей неделе, и получил не сразу: пришлось идти через прокурорский надзор, потому что консистория ведомству полиции подчиняться не желала.

К записи было приложено то, ради чего он туда и лез.

Свидетельство о смерти Кисляковой Дарьи Никитиной, выданное причтом церкви в селе Ольгове Дмитровского уезда, о том, что означенная умерла в декабре девятьсот одиннадцатого года от воспаления лёгких и погребена на приходском кладбище.

Морозов прочёл, сложил бумагу и сказал вслух:

— Ну вот. Теперь всё.

— Что «всё»? — не понял Гвоздёв.

— Всё, Спиридон Афанасьевич, — сказал Морозов. — Он подделал смерть. И это уже не обман старухи, а подлог документа духовного ведомства, статья с каторжными работами. И, что важнее, это его подпись под ложью.

Прежде поездки Морозов сделал ещё одно, и сделал не по делу, а для себя: съездил в Лефортово и попросил показать ему череп ещё раз.

Молодой прозектор удивился.

— Вы же смотрели.

— Смотрел, — сказал Морозов. — Я хочу посмотреть с фамилией.

Он стоял над ящиком минут пять. Ничего нового он там не увидел и увидеть не мог.

Но за год с лишним в этом веке он выучил про себя одну вещь: пока у покойного нет имени, работа идёт легко и чисто, как задача. А как только имя появляется, работать становится тяжелее — и лучше.

— Дарья Никитична Кислякова, — сказал он вслух. — Тридцати шести лет. Троих детей.

Прозектор посмотрел на него странно и промолчал.

В Ольгово поехали вдвоём, на третий день, поездом до Дмитрова и оттуда на санях двадцать вёрст.

Церковь стояла на бугре, старая, с деревянной колокольней. Священник, отец Никандр, служил при ней одиннадцатый год, был молод, беден, суетлив и, увидев бумагу из сыскного отделения, побелел так, что Морозов понял: половина работы сделана.

Метрическую книгу за девятьсот одиннадцатый год он подал сам, дрожащими руками.

Запись стояла. Декабрь, четырнадцатое число. «Умерла Кислякова Дарья Никитина, тридцати трёх лет, отъ воспаленія легкихъ. Погребена на приходскомъ кладбищѣ».

Морозов посмотрел на запись, потом на почерк соседних записей, потом на чернила.

— Отец Никандр, — сказал он. — Вы эту запись когда делали?

Священник открыл рот и закрыл.

— В декабре одиннадцатого года, — сказал он.

— Соседняя запись, за тринадцатое число, писана чернилами бледнее. И за пятнадцатое бледнее. А ваша, за четырнадцатое, — гуще и свежее. Чернила разные, а книга одна.

Отец Никандр сел на лавку.

Он сознался через десять минут, и Морозов, слушая, впервые за московский месяц почувствовал что-то похожее на жалость.

Осенью двенадцатого года к нему приехал человек из Москвы. Хорошо одетый, вежливый, при деньгах. Объяснил дело так: жена его умерла в отъезде, в другой губернии, от воспаления лёгких, и там же похоронена, а бумаг о том не выправили, потому что дело было в глуши и не до бумаг. И теперь он, оставшись с тремя детьми, желает жениться на женщине, которая этих детей растит, — а без свидетельства о смерти венчать его не станут.

— Он показал мне детей, — сказал отец Никандр. — Он их привёз, все трое сидели на санях. И сказал: батюшка, у них ни матери, ни имени. Аграфена их растит третий год, а по бумагам она им никто.

— Сколько он дал?

— Сто рублей, — сказал священник и заплакал. — У меня церковь без крыши, ваше высокоблагородие. У меня в приделе снег на полу зимой.

— А детей вы видели своими глазами?

— Видел, — сказал отец Никандр. — Трое. Старший мальчик всю дорогу молчал, а младший спросил меня: батюшка, а мамка теперь на небе?

Морозов поднял голову.

— Он так спросил?

— Так и спросил.

— А отец что?

Священник подумал.

— А отец сказал: на небе, Петруша, на небе. И по голове его погладил.

Морозов записывал показания и думал о том, что за год в Петербурге видел эту схему шесть раз и всякий раз в другой одежде: у всякого человека, соглашающегося на дурное, есть довод, который кажется ему достаточным. У Гриши Лоскутова был страх, у Гарина — двадцать рублей серебром, у трубочиста — лайковые перчатки, у студента Плужина — плата за курс, у зятя Пельта — лесная контора в Ревеле.

У отца Никандра была крыша над приделом.

— Вы понимаете, что вы сделали? — спросил он.

— Понимаю, — сказал священник. — Я записал в книгу неправду.

— Вы не то записали, — сказал Морозов. — Вы дали человеку, убившему жену, законную бумагу о том, что она умерла своей смертью. И ежели бы я не приехал, эта бумага пережила бы всех нас.

Обратно ехали молча.

В Москве Морозова ждало на столе письмо из губернии — то самое, ответ на его собственный запрос о копии послужного списка, посланный в первую неделю.

Он вскрыл его, стоя у окна, и прочёл, ничего не выражая лицом.

Губернское сыскное отделение препровождало копию формулярного списка чиновника для поручений Морозова А. П. и уведомляло, что «подлинный списокъ и прочія документы, до личности означеннаго чиновника относящіяся, въ настоящее время находятся въ Департаментѣ Полиціи, куда высланы по требованію отъ 29 января с. г.».

Стало быть, ушло.

Морозов сел и прочёл копию.

Формулярный список был на четырёх листах и был скучен, как всякий формуляр. Происхождение, вероисповедание, образование, послужное движение, награды, взыскания, семейное положение.

Приметы в формуляре не указывались — их писали в паспортной части, а не здесь.

Он выдохнул и тут же поймал себя на этом выдохе.

Не то чтобы стало легче. Стало ясно, где именно проходит опасность: не в формуляре, а в паспортной книжке и в метрической выписи. Формуляр можно послать хоть в двадцать мест; там нет ни роста, ни шрама.

А ещё в письме была приписка, сделанная от руки внизу, мелким почерком, без подписи:

«Александръ Петровичъ! Радъ, что у Васъ въ столицѣ всё сложилось. У насъ по Вашему прежнему дѣлу о музейной кражѣ ныне справляются изъ Департамента, спрашиваютъ рапортъ Вашъ отъ 14 августа. Я отвѣтилъ, что рапортъ въ дѣлѣ. Кланяюсь. Писарь Мухинъ».

Морозов сложил письмо и убрал в ящик.

Департамент шёл по той же дороге, по которой он сам прошёл в апреле: рапорт о девятом номере, музейная кража, чиновник, подавший бумагу и через четыре месяца убитый.

Только у департамента, в отличие от него, был доступ к паспортной части.

А назавтра, разбирая с Гвоздёвым ольговские показания, он услышал от надзирателя то, чего ждал:

— Ваше высокоблагородие, а мы ведь его теперь возьмём.

— Возьмём.

— За подлог.

— За подлог, — согласился Морозов. — И тут, Спиридон Афанасьевич, начинается наша с вами главная опасность, и я вам её назову вслух, чтобы вы меня после остановили, ежели я в неё полезу.

— Какая?

— Он сознается в подлоге, — сказал Морозов. — Он умный человек: он поймёт, что подлог доказан, и возьмёт его на себя. Скажет: да, жена уехала и пропала, я три года ждал, а после решил, что она умерла, и выправил бумагу неправдой, чтобы дети имели мать. Это трогательно, это понятно присяжным, и за это дают год крепости, а не каторгу.

Гвоздёв подумал.

— А убийство?

— А убийства он не признает никогда, — сказал Морозов. — И нам его не доказать: три года в земле, свидетелей нет, орудия нет. — Он посмотрел в тёмное окно. — Оттого мы его брать пока не станем.

— Как не станем?

— Так, — сказал Морозов. — У нас есть подлог, и он никуда не денется: свидетельство лежит в консистории, запись в книге, поп даст показания. А убийства у нас нет, и, взяв его сегодня за подлог, мы убийство похороним навсегда: он сядет, отсидит год и выйдет вдовцом при законной бумаге.

— А ежели он сбежит?

— Не сбежит, — сказал Морозов. — Ему сорок четыре года, у него две лавки, четыре подводы, дом и трое детей. Такие не бегают: у них слишком много вещей. — Он помолчал. — И потом, Спиридон Афанасьевич, он ведь ещё не знает, что мы к нему идём. Он три года прожил спокойно и уверен, что всё кончилось.

— А как узнает?

— А как узнает, — сказал Морозов, — так и начнёт делать глупости. Оттого мы к нему пока и не пойдём. Пусть себе живёт.

— Стало быть, что делать?

— Искать четвёртого, — сказал Морозов.

— Какого четвёртого?

— Того, кто копал яму, — сказал Морозов. — Спиридон Афанасьевич, вы её сами из земли принимали. Скажите: глубоко лежала?

Гвоздёв нахмурился, вспоминая.

— Аршина полтора.

— В ноябре месяце?

— В ноябре, — сказал надзиратель, и вдруг его длинное унылое лицо переменилось. — В ноябре земля мёрзлая.

— Мёрзлая, — сказал Морозов. — Полтора аршина мёрзлой земли ночью, в одиночку, человек не выкопает — а если и выкопает, то к утру, и его увидят. Значит, копали либо не в ноябре, либо не один.

— Либо, — медленно сказал Гвоздёв, — яма уже была.

Глава 54

Яму искали десять дней.

Морозов начал с того, с чего следовало начать в ноябре: с того, что представляла собою Марьина роща осенью девятьсот десятого года.

Она представляла собою окраину. Пустыри, огороды, мелкие домишки, кладбище, кирпичные сараи, свалка. Место, где город кончался и начиналось то, что городом ещё не стало.

И место, где всё время что-нибудь копали.

— Спиридон Афанасьевич, — сказал Морозов, разложив на столе план. — Мне нужны все работы, какие велись за Лазаревским кладбищем в девятьсот десятом году. Водопроводные, канализационные, кирпичные карьеры, погреба, ямы под фундамент — всё.

— Это в управу, — сказал Гвоздёв.

— Значит, в управу.

Управа оказалась заведением, по сравнению с которым петербургский департамент полиции выглядел образцом расторопности.

Морозова гоняли из отдела в отдел четыре дня. В строительном сказали, что земляные работы по трубам ведает водопроводное отделение; в водопроводном — что за девятьсот десятый год дела сданы в архив; в архиве — что без отношения за подписью начальника отделения не выдадут; а получив отношение, объявили, что дела за десятый год перевезены в другое здание и разбираются.

На третий день Гвоздёв, до тех пор молчавший, сказал:

— Ваше высокоблагородие, дозвольте я по-нашему.

— По-какому?

— Обыкновенно, — сказал надзиратель. — Я тут архивариуса знаю, мы с ним по одному делу в девятьсот шестом... Он мужик хороший, только пуганый. Ему надо не бумагу показывать, а сказать, что мы его не тронем.

Он ушёл и вернулся через два часа со справкой, из которой следовало, что осенью девятьсот десятого года за Лазаревским кладбищем производились работы двоякого рода: копались ямы под известь при кирпичном заводе Скорнякова и рылась траншея под сточную трубу, начатая в сентябре и брошенная в ноябре ввиду прекращения ассигнования.

Брошенная траншея.

Морозов положил справку и посмотрел на Гвоздёва.

— Вот вам и полтора аршина мёрзлой земли.

— Он её в готовую канаву положил, — сказал надзиратель.

— И засыпал тем, что рядом лежало, — сказал Морозов. — А весною канаву забросили окончательно и заровняли, и три года над ней росла трава, пока в ноябре тринадцатого её не вскрыли под водопровод.

На место они съездили в тот же день.

Пустырь за Лазаревским лежал под мокрым мартовским снегом, и там, где в ноябре рыли водопроводную канаву, торчали брошенные до весны трубы. Морозов прошёл вдоль по всей длине — восемьдесят сажен, как говорил подрядчик, — и остановился там, где, по показанию Гвоздёва, нашли.

— Тут.

— Тут, — сказал надзиратель. — Аршина полтора вглубь, у самого края.

Морозов огляделся.

От дороги — сажен сорок. От ближнего жилья — вдвое больше. Ни фонаря, ни забора, ни сторожки: сторожка стояла на другом конце траншеи, у складов с досками, — там, где было что красть.

Он вернулся к плану, который держал в руках, и провёл пальцем.

— Спиридон Афанасьевич, а теперь главное. Ежели он вёз тело в готовую траншею — он знал, что траншея есть. И знал, в каком именно месте она не сторожится.

Гвоздёв понял сразу.

— Стало быть, он там бывал.

— Или там бывал кто-то, кто ему сказал, — сказал Морозов. — И вот это и есть наш четвёртый.

— Спиридон Афанасьевич, — сказал Морозов, читая справку. — А отчего вы прежде так не делали?

Гвоздёв пожал плечами.

— Прежде мне не велели найти, — сказал он. — Прежде мне велели сходить в управу.

Морозов посмотрел на него и записал себе на память: этот человек четыре дня честно ходил из отдела в отдел, потому что так было велено, и на третий день предложил единственный работающий способ — но предложил только после того, как убедился, что за предложение его не накажут.

Ему понадобилось на это два месяца.

Подрядчика, рывшего траншею, звали Ефим Сысоев, и найти его оказалось делом двух дней: он и посейчас брал у города земляные работы и жил в Сокольниках.

Сысоев, крепкий мужик лет пятидесяти, принял их настороженно и разговорился только после того, как Морозов объяснил, что дело идёт не о подрядах и не о недоимках.

Траншею он помнил.

— Начали в сентябре, — сказал он. — Прошли сажен восемьдесят. В ноябре из управы говорят: денег нет, до весны стоп. Я рабочих снял, инструмент вывез, канаву как есть оставил.

— Кто-нибудь там оставался?

— Сторож, — сказал Сысоев. — По ночам, при досках и при бочках. Их же растащат.

— Как звали сторожа?

Подрядчик поскрёб бороду.

— А чёрт его... Мы их не по фамилиям знаем. Старик был, из отставных солдат. Мы его Кузьмой звали. Он у меня три года сторожил, а после помер.

— Когда помер?

— В четырнадцатом... нет, в двенадцатом году. Зимой.

Морозов записал и это.

Свидетель, который мог видеть, умер полтора года назад.

— Ефим Прокофьевич. А кроме сторожа? Кто ещё знал, что канава стоит открытая?

— Да все знали, — сказал Сысоев с удивлением. — Она ж восемьдесят сажен. Её вся округа обходила.

— Не вся округа, — сказал Морозов. — Округа знала, что там канава. А человек, который жил в Мещанской части, в трёх верстах, за что он мог знать?

Подрядчик подумал.

— Так ведь возчики, — сказал он. — У меня грунт вывозили подводами. Дюжины полторы возчиков.

— Чьи подводы?

— Разные. Кого наймёшь.

— Записи есть?

— Да господь с вами, ваше высокоблагородие. Четвёртый год пошёл.

И тут вмешался Гвоздёв.

Он спросил — впервые за всё дело сам, не дожидаясь Морозова, и спросил именно то, что следовало:

— Ефим Прокофьевич, а платил ты им как? По уговору или по счёту?

— По счёту, — сказал Сысоев. — Я без бумаги не плачу, я учёный.

— А счета?

Подрядчик замялся.

— Счета-то у меня, — сказал он. — В сарае, в мешке. Я их не жгу: мало ли, управа спросит.

Мешок с бумагами разбирали два вечера — в сарае, при фонаре, втроём, чихая от пыли.

Бумаг было несколько сот: счета, расписки, требования, обрывки нарядов. Половина слиплась, треть была писана карандашом и стёрлась.

Морозов раскладывал их по годам, Гвоздёв читал вслух, подрядчик носил фонарь и время от времени говорил: «Да господь с вами, ваше высокоблагородие, чего вы там сыщете».

На второй вечер, часу в десятом, Морозов заметил, что надзиратель работает иначе, чем в первый.

В первый вечер Гвоздёв читал, как читают по обязанности. Во второй он стал откладывать в сторону всё, где встречались подводы, и делал это, не спрашивая.

— Спиридон Афанасьевич, — сказал Морозов. — Вы уже поняли, что мы ищем.

— Понял, — сказал Гвоздёв, не поднимая головы. — Мы ищем, кто там работал.

И на исходе второго вечера он поднял голову и сказал ровным голосом:

— Александр Петрович.

В руках у него был счёт, писанный неровным почерком, за октябрь девятьсот десятого года.

«За вывозку грунту подводами тремя, съ 4 по 19 октября, — 27 р. 40 к. Получилъ сполна Ф. Кисляковъ».

Морозов взял бумагу к фонарю.

Фома Игнатьев Кисляков, скупщик боенского субпродукта, имевший четыре подводы, в октябре девятьсот десятого года две недели возил грунт с той самой траншеи, в которой через месяц оказалась его жена.

— Ну вот, — сказал Морозов очень тихо. — Вот и всё дело.

Дальше пошло быстро.

Наблюдение за Кисляковым Морозов поставил с двадцать пятого февраля — не жандармское, какого в Москве ему никто бы не дал, а простое: двое агентов посменно, по неделе.

Картина вышла ровная и, если бы не всё прочее, добропорядочная.

Вставал в пятом часу. К шести на бойнях. Оттуда по лавкам. Обедал дома. Вечером счета. По воскресеньям — обедня в приходской церкви со всей семьёй: жена, трое детей, все чистые, все в новом.

Агенты доносили с недоумением: человек как человек, живёт хозяйственно, детей одевает, в трактир не ходит.

И только одно в этих донесениях повторялось из недели в неделю, и Морозов подчеркнул это на третьем донесении.

По четвергам, к вечеру, Кисляков ездил один — без работника, без семьи — на Лазаревское кладбище. Ставил лошадь у ворот, входил, пробыв внутри четверть часа, выходил и уезжал.

— Могилка чья? — спросил Морозов.

Выяснили за день. Могилы у него на Лазаревском не было: ни родни, ни своих.

Он приезжал туда просто так.

За кладбищенской оградой, в трёхстах саженях, был пустырь, а на пустыре — заровненная траншея, о которой с ноября месяца писали в московских газетах в отделе происшествий.

— Ходит, — сказал Гвоздёв.

— Ходит, — сказал Морозов. — Три года ходил спокойно, а с ноября, когда её выкопали, стал ездить по четвергам.

Установили и остальное.

Подводы Кислякова работали на траншее с четвёртого по девятнадцатое октября, и он сам при этом присутствовал — подрядчик подтвердил: приезжал считать ходки, потому что платили с ходки и он никому не доверял.

Установили: жена его в последний раз была видна соседями в конце октября — точной даты никто не помнил, но старуха из четвёртого этажа показала, что «после Покрова ещё видала, а на Казанскую уж нет».

То есть между двадцать вторым октября и двадцать вторым ноября.

Установили: с двадцать пятого октября Кисляков нанял поденщицу к детям вторично, и в расходной книжке появилась запись «бабѣ за постирку и уборку», которой прежде не бывало никогда, потому что стирала и убирала жена.

И, наконец, установили последнее, и это Морозов сделал сам, потому что не хотел поручать.

Он поехал в дом Зуева и осмотрел квартиру в третьем этаже, где Кисляковы прожили восемь лет.

Квартира была теперь занята другими жильцами, обои переклеены, полы перестелены; ждать от неё улик через три года было бы глупостью.

Он и не ждал улик.

Он мерил.

Морозов измерил комнаты, сени и, главное, чёрную лестницу: ширину пролёта, высоту ступеней, поворот, дверь во двор. Потом спустился во двор и измерил расстояние от двери до ворот, а от ворот — до того места, где, по словам дворника, Кисляков ставил подводы.

Одиннадцать саженей от чёрной двери до подвод.

Одиннадцать саженей ночью, по двору, где в одиннадцать часов запирают ворота и где дворник спит в подвале у самой лестницы.

— Донести можно? — спросил Гвоздёв.

— Не донести, — сказал Морозов. — Снести. Она была невелика, в ней пудов пять было. Спиридон Афанасьевич, у него подводы стояли во дворе, у него была рогожа, и у него была работа, при которой он каждую ночь возил с боен требуху в бочках. — Он посмотрел на грязный снег. — Ему даже прятать было не надо. Ему надо было погрузить.

— А дворник?

— А дворник спал, — сказал Морозов. — И, заметьте, если бы даже проснулся и увидел, как хозяин в третьем часу ночи грузит на свою подводу что-то в рогоже, — он бы не удивился. Этот человек всякую ночь что-нибудь грузил. В том и дело, Спиридон Афанасьевич: ему не пришлось делать ничего необычного. Он сделал обычное, только один раз с другим грузом.

Гвоздёв поёжился — и не от холода.

— Ваше высокоблагородие, — сказал он, — а вот я третий месяц с вами хожу и всё думаю. Вы это откуда всё знаете?

— Что именно?

— Ну вот это: что дворник не удивится. Что убийца наутро на службу выйдет. Что человек три года будет письма писать. — Надзиратель посмотрел на него сбоку. — Я тридцать лет служу, а так не думаю.

— Я тоже тридцать, — сказал Морозов.

— Вам сорок восемь.

— Значит, я рано начал, — сказал Морозов.

Вечером третьего марта он сел писать постановление.

Он писал его четыре часа и написал не так, как пишут о задержании подозреваемого, а так, как пишут о человеке, которого не отпустят.

В основание были положены:

опознание останков по трём независимым признакам — обувь, изготовленная по индивидуальной колодке для хромающей на левую ногу, с сохранившимся заказом в книге мастерской; жетон, выданный мужу; старый перелом левой бедренной кости, соответствующий хромоте;

подложное свидетельство о смерти, полученное обвиняемым за сто рублей, с показаниями священника;

трёхлетняя переписка с матерью покойной чужой рукой, с утверждением, что дочь неграмотна, при наличии четырёх её собственноручных писем;

присутствие обвиняемого на месте погребения в качестве подрядного возчика за две недели до исчезновения жены;

изменение хозяйственного обихода дома с двадцать пятого октября девятьсот десятого года;

и — Морозов долго думал, вносить ли это, и внёс — эпизод с гирей и возчиком в конторе городских боен как обстоятельство, характеризующее обвиняемого.

Пересветов читал постановление утром четвёртого марта, при Морозове, и читал долго, дважды возвращаясь к началу.

— Александр Петрович, — сказал он наконец. — Вы понимаете, что у вас нет ни одного свидетеля убийства?

— Понимаю.

— И орудия нет.

— Нет.

— И даже дня, в который оно произошло, вы назвать не можете: у вас месяц, с двадцать второго по двадцать второе.

— Не могу.

— И вы полагаете, что суд...

— Я полагаю, — сказал Морозов, — что суду будет предъявлено следующее. Женщина исчезла. Муж три года лгал о том, где она. Он лгал матери письменно, соседям устно и церкви — за деньги, документом. И тело её лежало в яме, которую он копал.

Он положил ладонь на постановление.

— Аркадий Ильич, у меня нет одного доказательства убийства. У меня их восемь, и все косвенные, и все указывают в одну сторону, и ни одно из них он не сможет объяснить, не признав другого.

Пересветов долго смотрел на бумагу.

— Знаете, что меня убеждает? — сказал он. — Не восемь ваших пунктов. Меня убеждает то, что вы три недели не брали человека, которого могли взять за подлог в первый же день. — Он взял перо. — Берите.

Он подписал, промокнул и, отдавая, спросил уже другим тоном:

— А зачем он её убил, Александр Петрович? Тут у вас про мотив полстроки.

— Оттого что мотива я не знаю, — сказал Морозов.

— Как не знаете? У вас же нянька.

— Нянька — не мотив, а следствие, — сказал Морозов. — Он женился на ней через полтора года, а не через месяц, и до того, судя по всему, ничего между ними не было: в доме прислуга, дети, соседи — такое не спрячешь. — Он помолчал. — Аркадий Ильич, я вам скажу, чего боюсь. Я боюсь, что мотива в этом деле нет вовсе. Верней, что он такой, какой присяжным не понравится.

— То есть?

— То есть никакого, — сказал Морозов. — Восемь лет он на ней жалел денег, попрекал ногой, торговался в мастерской за пару сапог. Такие люди не задумывают убийства. Такие люди

однажды берут со стола гирю, потому что жена сказала что-то, чего он не стерпел, — и потом три года пишут её матери письма чужой рукой, чтобы старуха не беспокоилась.

Пересветов помолчал.

— Скверно, — сказал он.

— Скверно, — согласился Морозов. — Присяжные любят, чтобы убивали ради чего-нибудь. Когда убивают ни ради чего, присяжные пугаются и оправдывают.

Глава 55

Кислякова взяли пятого марта, в шестом часу утра, на бойнях.

Морозов выбрал это время и это место нарочно, и объяснил Гвоздёву так: дома трое детей и жена, а человека, которого берут при детях, потом до конца следствия не разговорить — он будет помнить, как они смотрели.

На бойнях Фома Игнатьевич Кисляков стоял у весов и считал ходки.

Он был крупный, широкий в кости, с обветренным лицом и с руками, какие бывают у людей, тридцать лет таскавших тяжести. Увидев Морозова с бумагой, он посмотрел спокойно, дочитал строчку в записной книжке, закрыл её и сказал:

— По какому делу?

— По делу о смерти вашей жены, Дарьи Никитичны.

Кисляков помолчал секунды три.

— Она в Тверской губернии, — сказал он. — У матери.

— Она в Лефортовском анатомическом театре, — сказал Морозов. — С ноября месяца. Поедемте.

По дороге, в санях, Кисляков не сказал ни слова, и Морозов его не трогал.

Он смотрел на этого человека сбоку и отмечал то, что отмечал всегда: как сидит, куда смотрит, что делают руки.

Руки лежали на коленях спокойно. Смотрел он прямо перед собой. И один раз, когда сани поворачивали с Серпуховской, он поднял голову и посмотрел на купола Донского — не перекрестился, а просто посмотрел, как смотрят на знакомое.

Человек, за которым едут по делу об исчезнувшей жене, ведёт себя в санях одним из двух способов: либо говорит без умолку, объясняя, либо молчит, потому что весь ушёл в подготовку.

Этот молчал и не готовился.

За три года он подготовился один раз и с тех пор жил на этом.

Допрос Морозов вёл девять часов, с перерывами, в комнате при отделении, вдвоём с Гвоздёвым, который писал.

И девять часов Кисляков не сказал ни слова признания.

Он был умён — умён той крестьянской, тяжёлой сметливостью, которая в суде страшнее образованности. Он не спорил, не кричал, не оскорблялся. Он говорил одно и то же и говорил ровно.

Жена уехала осенью десятого года. Куда — не знает; думал, к матери. Не вернулась. Заявлять не заявлял: стыдно было, думал — сама воротится. После решил, что либо померла где, либо ушла к кому.

— Три года ждали?

— Ждал.

— И матери её писали, что она здорова.

— Писал.

— Отчего?

— Старуха слепая, — сказал Кисляков. — Ей семьдесят лет. Что ж я ей напишу — дочь пропала?

— Вы писали, что она неграмотна.

— Я не знал, что грамотна.

— Восемь лет женаты и не знали?

— Она при мне не писала, — сказал Кисляков.

По свидетельству о смерти он тоже не запирался и признал сразу.

Да, выправил ложное. Да, дал сто рублей священнику. Отчего? Оттого, что дети росли без матери, а Аграфена при них третий год, и её ни в больницу с ними не пускали, ни в училище: чужая. И оттого, что сам он мужик и в бумагах разумеет плохо, а по бумагам выходило, что он ни вдовец, ни женатый.

— Вы понимаете, что это подлог?

— Понимаю, — сказал Кисляков. — За это судите.

И вот здесь Морозов увидел устройство всей его защиты — увидел ясно, как чертёж.

Человек соглашался на всё, что было доказано, и не соглашался ни на что, чего доказать нельзя. Подлог — доказан, признаю, судите за подлог. Письма — доказаны, признаю, писал из жалости. Подводы на траншее — доказаны, признаю, возил грунт, работа такая.

А убийства не доказано — и его нет.

К седьмому часу Морозов переменил направление.

Он отложил бумаги и сказал:

— Фома Игнатьевич. Я вам сейчас расскажу, как это было, а вы поправите, если совру.

— Рассказывайте.

— В конце октября десятого года вечером вы с ней поссорились. О чём — не знаю; думаю, о деньгах. У вас в тот год дело шло туго: приходу четыреста рублей, четверо ртов и жена, которая ходит плохо и на которую вы восемь лет считали расход. — Морозов говорил ровно, глядя ему в лицо. — Она вам что-то сказала. Не знаю что. Может, про нянькино жалованье. Может, попрекнула. И вы взяли то, что было под рукой.

Кисляков сидел неподвижно.

— Дальше было хуже всего, — сказал Морозов. — Дальше вы сидели над ней в кухне и понимали, что троих детей у вас отберут и что двадцать лет вы просидите в каторге за одну секунду. И вы вспомнили, что в трёх верстах стоит открытая канава, из которой ваши же подводы две недели возили грунт.

— Не было этого, — сказал Кисляков.

— Вы её снесли по чёрной лестнице — одиннадцать саженей до подвод — и увезли ночью, как возили всякую ночь. И положили в канаву у дальнего края, где нет сторожки. И засыпали.

— Не было.

— А потом, — сказал Морозов, — вы три года кормили эту ложь. Вы писали её матери чужой рукой. Вы объясняли соседям. Вы возили детей к попу за сто рублей, чтобы у них была мать по бумаге. Фома Игнатьевич, вы три года работали на эту ложь тяжелее, чем на своих подводах.

Кисляков молчал.

— Я вам скажу, где вы себя выдали, — сказал Морозов. — Не в письмах. Не в свидетельстве. В четвергах.

В первый раз за девять часов у человека дрогнуло лицо.

— С ноября, как её нашли, вы каждый четверг ездите на Лазаревское, — сказал Морозов. — Один. Ставите лошадь, входите на четверть часа и уезжаете. У вас там нет ни одной могилы. Вы ездите не на кладбище. Вы ездите смотреть на пустырь.

Тишина стояла долго.

— В газетах прочёл, — сказал наконец Кисляков глухо. — Что нашли женщину.

— И стали ездить.

— И стал ездить.

— Зачем?

Кисляков поднял голову, и Морозов увидел то, чего ждал девять часов: не страх, не раскаяние — усталость.

— Затем, — сказал он, — что три года там место было пустое, и мне было легко. А теперь его раскопали, и я думал: может, там опять зароют.

Он сказал это и понял, что сказал.

Признания это не составляло. В протоколе Морозов записал слово в слово, и защитник, разумеется, потом объяснял присяжным, что человек ездил из суеверного страха, вычитав в газете о находке в местах, где он когда-то работал.

Но что-то в комнате переменилось, и оба это почувствовали.

— Ещё скажу, — проговорил Кисляков после долгого молчания. — И это последнее, что я вам скажу, а после буду молчать до суда.

— Говорите.

— Я её не бил, — сказал он. — Восемь лет не тронул ни разу. У меня отец мать бил, я насмотрелся и зарёкся. — Он посмотрел на свои руки, лежащие на столе. — Восемь лет держал.

И замолчал.

И до самого суда, как обещал, больше не сказал ни слова.

Дело Морозов сдал двадцатого марта.

Обвинение шло по двум статьям: убийство и подлог документа. Кисляков признавал вторую и отрицал первую; защитник, взятый на деньги от продажи одной из лавок, строил всё на том, что тела не опознано и что «косвенные соображения чиновника Морозова, при всём их остроумии, не заменяют одного свидетеля».

Суд состоялся в июне, когда Морозова в Москве уже не было, и о приговоре он узнал из письма Гвоздёва.

Присяжные признали виновным и в подлоге, и в убийстве, но с признанием обстоятельств, заслуживающих снисхождения. Каторжные работы на двенадцать лет.

Гвоздёв писал об этом коротко и в конце прибавлял:

«А ещё, ваше высокоблагородіе, доложу вамъ: старуха Прохорова изъ Тверской губерніи прислала въ отдѣленіе письмо, писанное сосѣдкой. Проситъ отдать ей внуковъ. Мы съ Аркадіемъ Ильичомъ хлопочемъ, но дѣло трудное: старуха слѣпая и семидесяти двухъ лѣтъ».

Дальше писалось, что за детьми осталась Аграфена Тимофеевна, что она подала прошение об усыновлении и что в отделении по этому поводу мнения разделились.

Морозов дочитал письмо и долго сидел над ним.

Всё, что он мог сделать для женщины, пролежавшей три года в мёрзлой канаве, он сделал: он вернул ей имя. Её похоронили в марте на Лазаревском, по-настоящему, с отпеванием, за счёт отделения — Пересветов расписался в расходе, крякнув, но расписался.

На похоронах было четверо: Морозов, Гвоздёв, могильщик и старый закройщик Веселы, которого никто не звал.

Он пришёл сам, в чёрном пальто, постоял, покрестился по-своему, по-католически, и уходя сказал Морозову:

— Я двадцать два года пишу в книгу заказов. Двадцать два года, милостивый государь, и всё думал, что пишу пустое.

Гвоздёв, когда закапывали, снял шапку и стоял до конца, а после, уже у ворот, сказал вдруг:

— Александр Петрович. Я, знаете, тридцать лет служу и на похоронах по своим делам первый раз.

— Отчего же?

— А не хожу, — сказал надзиратель. — Мы своих не хороним. Мы их находим и сдаём в дело, а хоронит их город. — Он надел шапку. — А тут вот пришёл.

Он помолчал и прибавил не по чину, но и не заискивая:

— Вы уж, ваше высокоблагородие, ежели вас отсюда переведут, — вы мне скажите заранее. Я тогда попрошусь при вас остаться.

А трое детей остались с той, которая их растила, и это было, вероятно, единственное правильное, что вышло из всего дела.

Отца Никандра лишили сана и отдали под суд по духовному ведомству. Морозов, подписывая по нему бумаги, написал в конце то, чего писать был не обязан: что священник дал показания добровольно и полно, что материальное положение прихода крайне бедственно и что означенное обстоятельство просит принять во внимание.

Первого апреля Пересветов вызвал его и сказал:

— Стол ваш готов. С понедельника принимайте.

— Благодарю, ваше превосходительство.

— Не благодарите. — Начальник отделения побарабанил пальцами. — Александр Петрович, я вам вот что скажу. Вы у меня третий месяц, и за три месяца вы раскрыли то, что лежало три года. По-хорошему мне бы вас на руках носить. А я вот сижу и думаю, чего мне с вами делать.

— Отчего?

— Оттого, что вчера мне звонили из Петербурга, — сказал Пересветов. — Из департамента полиции. Справлялись о вас.

Морозов сидел неподвижно.

— Что спрашивали?

— Спрашивали, как служите, — сказал Пересветов. — Я ответил: превосходно. Спрашивали, не замечено ли за вами странностей. Я ответил: не замечено. — Он посмотрел прямо. — А после спросили третье, и вот от третьего мне сделалось скверно.

— Что?

— Спросили, — сказал начальник отделения, — не известно ли мне, имеются ли у вас на теле какие-либо особые приметы.

В комнате стало очень тихо.

— И что вы ответили? — спросил Морозов.

— Я ответил, что чиновников своих голыми не видел, — сказал Пересветов. — И спросил, по какому это делу. Мне ответили: по общему надзору.

Он помолчал.

— Александр Петрович. Я двадцать девять лет служу. Я знаю, что означает, когда о человеке спрашивают приметы. Это означает, что кто-то сличает.

Морозов вышел от него и до вечера работал так, как работал всегда, и никто в отделении ничего не заметил.

А вечером, у себя в Печатниковом переулке, он сел за стол и разложил перед собой то, чем располагал.

Первое: приметы настоящего Морозова записаны в паспортной книжке и в формуляре паспортной части губернского управления. Рост — два аршина семь вершков с половиной. Глаза серые. Особые приметы: рубец от ожога на левом предплечье, три вершка.

Второе: у него самого рубца нет. Рост совпадает; глаза, по счастью, тоже.

Третье: сличать приметы можно двумя способами. По бумаге — и тогда достаточно запроса, на который в Москве ответят «не замечено». И лично — и тогда потребуется освидетельствование, а для освидетельствования требуется основание: дознание, арест или медицинская комиссия.

Стало быть, у него оставалось столько времени, сколько понадобится департаменту, чтобы найти основание.

Он посмотрел на календарь.

Первое апреля.

До мая оставался месяц, а до станции Тюмень — три тысячи вёрст и одна командировка, которой ему никто не даст.

Морозов взял чистый лист и начал писать рапорт.

Рапорт был о том, что при производстве дознания по делу Кислякова выяснилось обстоятельство, требующее проверки в Западной Сибири: подложные документы о смерти, выправленные по образцу, встречающемуся в делах Тобольской и Томской губерний, и что чиновник для поручений Морозов просит командировать его для сличения на срок до двух месяцев.

Обстоятельство это он выдумал целиком, от первого слова до последнего.

Он перечитал рапорт, помедлил — и не порвал.

За год и три месяца в этом веке он не подделал ни одной бумаги.

Морозов посмотрел на лист, потом на тёмное окно, за которым лежала чужая Москва, и подумал, что человек, начинающий врать в рапортах, обыкновенно кончает тем, что перестаёт понимать, зачем служит.

Потом он взял перо и переписал рапорт начисто — уже без выдуманного обстоятельства.

В новом варианте стояло другое: что чиновник для поручений Морозов А. П. просит о предоставлении ему отпуска на два месяца, с сохранением содержания либо без оного, по семейным обстоятельствам, с выездом в Тобольскую губернию.

Никаких семейных обстоятельств у него не было и быть не могло.

Но отпуск — это не подлог. Отпуск — это просто просьба, в которой можно отказать.

Он поставил число, подписался чужим именем, которое за год и три месяца стало своим, и лёг спать.

Спал он дурно.

Ночью он встал, зажёг лампу и достал из ящика то, что возил с собой из Петербурга: тетрадь, две костяные пуговицы, выписку из дневника горного инженера и три строки на плотной бумаге верже.

«В мае месяце на станции Тюмень будет ожидать Вас человек с фамилией, которую Вы знаете».

Он перечитал выписку — «отъ станціи трактомъ 26 верстъ до села, далѣе просёлкомъ на восходъ 9 верстъ до заимки Кузнецова» — и в сотый раз уткнулся в то же: станция не названа.

Зато теперь она была названа в другой бумаге.

Тюмень.

Если человек, знающий всё, назначает встречу именно там, — значит, оттуда и ехать. И, стало быть, у Морозова наконец есть начало дороги, а конец её описан в тетради покойного инженера с точностью до трёх с половиною вёрст берёзовым колком.

Оставалось одно: попасть туда.

Он посчитал, как считают расход. От Москвы до Тюмени поездом — четверо суток. Оттуда до тех мест — ещё сутки-двое. На месте — неделя, две. Обратно столько же.

Двух месяцев довольно.

Двух месяцев ему не дадут.

Отпуск в два месяца чиновнику, служащему третий месяц и не имеющему ни семьи, ни имения, не даёт ни один начальник отделения в империи; и Пересветов, при всей своей ласковости, откажет — и откажет правильно.

Морозов погасил лампу и лёг снова, и последнее, о чём он подумал, было не о Тюмени.

Он подумал о том, что человек в департаменте, спрашивавший о его особых приметах, сейчас, вероятно, тоже не спит и тоже что-нибудь считает.

И что из них двоих время работает не на него.

Утром второго апреля он подал рапорт Пересветову.

Начальник отделения прочёл, поднял брови и положил бумагу на стол.

— Два месяца. В Тобольскую губернию. По семейным обстоятельствам. — Он поднял глаза. — Александр Петрович, у вас по формуляру ни жены, ни детей, ни родителей.

— Так точно.

— Тогда что за обстоятельства?

— Личные, — сказал Морозов.

Пересветов посмотрел на него долгим ласковым взглядом, за которым, как Морозов давно понял, стояло что угодно, только не ласка.

— Знаете, что я сделаю? — сказал он. — Я вам не откажу и не разрешу. Я положу это в стол и подержу до мая. — Он придвинул рапорт к краю. — А вы за этот месяц подумайте, не найдётся ли у вас надобности съездить туда не по семейным обстоятельствам, а по делу. Потому что отпуска, Александр Петрович, вам никто не даст, а командировку я подписать могу.

— Дела нет, — сказал Морозов.

— Дела нет сегодня, — сказал Пересветов. — А у нас, слава богу, Москва. К маю что-нибудь да найдётся.

Глава 56

Книга двенадцатая. Обратный путь

Бекетов приехал седьмого апреля.

Морозов встречал его на Николаевском вокзале — и, стоя на перроне, поймал себя на том, что ждёт с нетерпением, которого сам от себя не ожидал.

Аполлинарий Львович вышел из вагона в новом пальто, с двумя чемоданами и с той безукоризненной прямизной, по которой его можно было узнать за сто шагов.

— Александр Петрович.

— Аполлинарий Львович.

Они пожали руки, и Бекетов сказал первым делом:

— Я привёз вам поклон от его превосходительства и три письма: от Кузьмы Игнатьевича, от господина Штейна и от ротмистра.

— От Свешникова?

— От него, — сказал Бекетов. — Он вручил мне его на вокзале лично, в закрытом конверте, и просил передать в руки. Я, признаться, всю дорогу думал, отчего он не отправил почтой.

— Оттого, — сказал Морозов, — что почта в этом веке читается.

Дорогой с вокзала Бекетов рассказывал о петербургских новостях, и Морозов слушал с тем особым вниманием, с каким слушают о городе, где прожил год.

Вельяминов здоров и по-прежнему в отделении. Штейн ворчит. Дроботов третий раз подал прошение о переводе. Дело Дементьева слушалось в марте, публики набилось столько, что пришлось ставить приставов у дверей, и «Петербургский листок» напечатал отчёт под заглавием «Фельдшеръ смерти», о чём Бекетов сообщил с отвращением.

— А Степанида Луконина? — спросил Морозов, когда они уже подъезжали.

— Содержательница комнат с Сенной?

— Она.

— Здорова, — сказал Бекетов. — Я её видел в феврале, случайно, на Садовой. Она меня узнала и остановила.

— Что сказала?

Бекетов помедлил.

— Спросила, как вы устроились, — сказал он. — Я ответил, что хорошо. Она сказала: «Ну и слава богу» — и пошла дальше. — Он посмотрел на Морозова. — Александр Петрович, она просила ничего вам не передавать. Я передаю только то, что она спросила.

— Спасибо, — сказал Морозов.

Письмо Свешникова он вскрыл вечером, дома, один.

Оно было короткое.

«Александръ Петровичъ.

Пишу не почтой, оттого что писать почтой мнѣ нынче неудобно.

Дѣло, по которому мы съ Вами работали, у меня взяли въ февралѣ и передали въ другія руки. Мнѣ объявлено, что моё участіе болѣе не требуется. Я подалъ рапортъ съ просьбой оставить меня при дѣлѣ; резолюція: отказать.

Отъ себя прибавлю одно, и Вы поймёте, чего мнѣ это стоитъ. Я полагаю, что дѣло взяли не для того, чтобы вести, а для того, чтобы оно лежало.

Прошеніе моё о переводѣ въ Западную Сибирь подано вторично. Отвѣта пока нѣтъ.

Л. Свѣшниковъ».

Морозов прочёл дважды и сжёг в печке — не из осторожности, а оттого, что понимал: если это письмо когда-нибудь найдут у него, оно погубит не его, а ротмистра.

Наблюдательное дело о собирателях легло под сукно.

Гельмерсен вёл его пять лет, потратил на него сто сорок листов и, получив наконец за два месяца троих живых свидетелей, — потерял его в феврале.

Морозов сел и написал в тетрадь одну строчку: «Дѣло легло. Февраль 1914. Кому выгодно?»

Ответа у него не было.

Два других письма были легче.

Дроботов писал, что в отделении новый чиновник, из молодых, и что «бумаги пишет чисто, а людей не знает вовсе»; что Мохов на суде получил пятнадцать лет каторги и на приговор не отозвался никак; что Дементьеву дали двенадцать и что он, Дроботов, был в суде и слышал, как фельдшер, уходя, поклонился публике.

В конце было: «А я, Александръ Петровичъ, подалъ прошеніе о переводѣ въ Москву. Отказали за неимѣніемъ вакансіи. Буду подавать вдругорядь».

Штейн писал о деле: об исследовании пятен, о новом реактиве, о том, что Пахом оказался неожиданно способен и «читает по ночам, каналья, при свече, портит глаза».

И в самом конце, без перехода: «Морозовъ, приѣзжайте на недѣлю. Я старъ и не люблю писемъ».

Морозов сложил оба письма в ящик и подумал, что за год с небольшим в этом веке у него завелось то, чего в прежней жизни не было последние лет двадцать: люди, которые пишут ему не по делу.

Бекетова он устроил в двух кварталах от себя, в меблированных комнатах на Рождественке, и первые дни водил по городу сам — как водили когда-то его самого.

Служба между тем шла.

Стол Морозов принял первого апреля и за неделю понял, что московский стол — это не петербургский. В Петербурге у него было семь дел за год; здесь за первую неделю легло девять.

Москва воровала, дралась и жгла в тех количествах, о которых на Офицерской не подозревали: кражи со взломом по Сухаревке, поддельные векселя, драки со смертельным исходом на Хитровке, поджоги лавок ради страховки, шайки «фармазонщиков», подменявших камни в перстнях.

За первый месяц Морозов выучил про этот город три вещи.

Первая: здесь всё решается через людей, а не через бумагу. В Петербурге чиновник писал отношение и получал ответ через две недели; в Москве надо было пойти, спросить знакомого, знакомый посылал к своему знакомому, и через два дня всё было сделано — но по знакомству, а не по закону.

Вторая: здесь больше воруют и меньше убивают из расчёта. Петербургское убийство — почти всегда обдуманное: отравление, инсценировка, аккуратность. Московское — в девяти случаях из десяти пьяное, кабацкое, ножом под лопатку.

И третья, которая ему нравилась: здесь не боятся начальства так, как боятся в столице. Здесь его обходят.

Бекетова он поставил на бумажную часть — и через три дня получил то, чего в Петербурге ждал год: стол заработал ровно.

Аполлинарий Львович вёл переписку, сроки, отчётность и надзирал за производствами так, что Пересветов на второй неделе сказал:

— Александр Петрович, а этот ваш из столицы — он у вас откуда?

— Из моего же стола.

— И вы его отдали?

— Он сам приехал.

Пересветов подумал.

— Тогда я вам скажу одно, — проговорил он. — В Москве за таким чиновником начальники дерутся. Держите крепче.

Впрочем, одно московское дело за эти недели Морозов запомнил особо, и запомнил не по существу.

В конце марта на Сухаревке взяли шайку, обиравшую покупателей на воскресном торгу. При обыске у главаря нашли, среди прочего, десятка полтора образков и крестов — обыкновенное краденое.

Морозов осматривал их вечером, при опечатывании, и поймал себя на том, что вносит вещи в опись, а сам ждёт.

Ничего.

Медь, серебро, стекло, дешёвая эмаль — и никакого света.

Он вышел тогда из отделения и полверсты шёл пешком, и мысль, которая его занимала, была неприятна своей мелочностью: он поймал себя на разочаровании. Не оттого, что не нашёл улику. Оттого, что не увидел.

За полтора года он привык к тому, что он — единственный в этом мире человек, видящий нечто. Привычка эта, как выяснилось, приросла крепче, чем ему хотелось бы.

А четырнадцатого апреля, во вторник, Морозову досталось дело, из-за которого он в конце концов уехал за Урал.

Началось оно как самое обыкновенное.

В ночь на четырнадцатое, на пустыре за Каланчёвской площадью, между складами Николаевской дороги и Красным прудом, дворники нашли мёртвого человека.

Мужчина лет сорока, крестьянского вида, в полушубке. Смерть от удара по голове тупым орудием, нанесённого сзади. При покойном не обнаружено ни денег, ни документов, ни вещей.

Дело шло по разряду, который в московском отделении называли коротко: «вокзальное».

Каланчёвская площадь — три вокзала, и вокруг них жила своя обширная промышленность: артельщики, носильщики, шулера, скупщики, «хипесники», ночлежки, чайные и трактиры, где приезжего человека обирали за сутки, а иногда и быстрее.

Убитых по этому разряду в Москве за год выходило до полусотни, и раскрывалось из них едва треть, потому что убивали, как правило, приезжих, а приезжего некому опознавать.

— Обыкновенное дело, — сказал Луковников, отдавая папку. — Мужика раздели и стукнули. Ищите по ночлежкам, глядишь, за неделю найдёте.

— А если не найду?

— Тогда через месяц спишете в приостановленные, — сказал Луковников с той же лёгкостью. — Александр Петрович, вы не думайте, что я циник. Я восьмой год эти дела веду. По вокзальному разряду у нас в год до полусотни трупов, и три четверти из них — приезжие без документов. Их не опознают, потому что их некому опознавать: родня в деревне за тысячу вёрст и ждёт письма.

— И что с ними делают?

— Хоронят, — сказал Луковников. — За городской счёт, в общей могиле. И, знаете, я вам скажу, что меня в этом больше всего мучает. Не то, что мы их не находим. А то, что дома их ждут годами. Он поехал на заработки, пропал — а жена в деревне двадцать лет думает, что он загулял и не вернулся.

Морозов посмотрел на него с интересом.

За три месяца это была первая фраза Луковникова, за которой стояло что-то, кроме желчи.

— Иван Матвеевич, — сказал он. — Так, может, и возьмёмся?

— Возьмитесь, — сказал Луковников и пожал плечами. — У вас, я слышал, ноябрьские кости заговорили. Может, и этот заговорит.

Морозов поехал на место в тот же день.

Каланчёвскую площадь он к тому времени знал уже прилично и всякий раз, попадая туда, испытывал странное чувство узнавания.

Три вокзала, сходящиеся на одном пятачке. Толпа с мешками и корзинами. Носильщики в фартуках с бляхами. Крик, ругань, свистки, лязг маневровых. Ряды чайных, где за пятак дают чай в неограниченном количестве кипятка. Извозчичья биржа. Артельщики, зазывающие приезжих в «хорошие номера». Мальчишки, предлагающие поднести.

В его прежней жизни на этом самом месте стояли три вокзала и площадь под ними, и толпа была та же, и точно так же кто-то кого-то обирал у выхода. Менялось всё, кроме устройства: там, где сходятся дороги, всегда стоит человек, который живёт с приезжих.

Бекетов, сопровождавший его в первый раз, оглядел это и сказал:

— Александр Петрович, у меня ощущение, что мы приехали в другое государство.

— Мы приехали в ворота, — сказал Морозов. — Через эту площадь в год проходит миллион человек. Из них половина едет на восток и продала всё, что имела. Как вы полагаете, сколько народу в Москве кормится тем, что стоит на этой дороге и подбирает?

Пустырь оказался большой, грязный, с остатками снега в канавах и с той особенной вокзальной замусоренностью, при которой земля состоит наполовину из земли и наполовину из обёрток, костей и битого стекла.

Тело лежало в тридцати саженях от складов, у самой тропы, ведущей к Красному пруду.

Морозов прошёл тропу дважды и отметил обычное: место выбрано не убийцей, а самим убитым — здесь ходят напрямик к дешёвым ночлежкам; следов борьбы нет; ударили сзади, на ходу.

Дальше пошли мелочи, которые он собирал по привычке.

Полушубок овчинный, ношеный, но не в лохмотьях: подшит и починен аккуратно, и починен женской рукой. Сапоги хорошие, не московские: голенище иное, шитьё другое.

Сапоги Морозов разглядывал долго.

Голенище было высокое и прямое, без сборок; шов задний, простой; подошва подшита в два ряда деревянными гвоздями, а не медными, как шьют в московских мастерских. И — главное — вытяжка была на две колодки шире обычного: под две пары портянок и под валеную стельку.

— Это, ваше высокоблагородие, сибирские, — сказал Гвоздёв, наклонившись. — У нас в Москве такие не носят, у нас нога мёрзнет иначе.

— Вы откуда знаете?

— У меня свояк в Кургане, — сказал надзиратель. — Он мне такие присылал. Я в них десять лет на посту стоял, лучше их для зимы ничего нету.

Морозов записал.

Ладони — тут он присел надолго — с мозолями, но не крестьянскими. Крестьянская мозоль от косы и от вожжей ложится иначе. Здесь мозоли были от заступа и от лома: сплошные, поперёк ладони, с трещинами.

И под ногтями — глина.

Не московская грязь, а именно глина, плотная, желтоватая, набившаяся глубоко и давно.

— Землекоп? — предположил Гвоздёв.

— Или копал сам для себя, — сказал Морозов.

Он выпрямился и оглядел пустырь.

Место было пустое, гнилое и до крайности неудобное: ни фонаря, ни жилья.

И вот тут, обходя тело в третий раз, Морозов остановился.

Апрельский день был серый и тусклый, и от складов на тропу падала длинная густая тень — та самая тень, в которой он за год научился видеть.

В этой тени, на земле, в двух аршинах от вытянутой руки покойного, лежал зелёный свет.

Слабый, гаснущий, размазанный — след вещи, которая пролежала тут недолго, а после её подняли.

Морозов стоял и смотрел, и всё внутри у него сделалось очень тихо и очень ясно.

Три месяца в Москве он не видел ничего.

Он ходил по этому городу, работал, ел в трактирах, ездил на бойни и в Ольгово, и ни разу — ни разу за три месяца — свет не показался ему нигде.

Он проверял себя дважды. В феврале, поздно вечером, зашёл в антикварную лавку на Кузнецком и с полчаса ходил между витринами, вглядываясь в тёмные углы; хозяин под конец спросил, не угодно ли ему чего-нибудь определённого, и Морозов купил ненужную бронзовую чернильницу за четыре рубля. В марте он обошёл ночью три церкви и Сухаревскую башню.

Ничего.

И он начал думать, что дело в нём: что дар, если это дар, привязан не к нему, а к тому городу; что в Петербурге он видел, потому что там были они, а здесь их нет и не было.

Оказалось — нет.

Оказалось, что вещи есть и в Москве, и что одна из них лежала нынче ночью в грязи на пустыре за Каланчёвской площадью, в двух аршинах от руки убитого мужика с глиной под ногтями.

И что её взял тот, кто его убил.

— Александр Петрович? — окликнул Гвоздёв.

Морозов присел, будто рассматривая землю, и сказал ровно:

— Тут что-то лежало. Видите — примято и грязь другая. Отметьте место и велите просеять на две сажени кругом.

Гвоздёв послушно полез за колышком.

Просеивали до сумерек и нашли обыкновенное вокзальное: две пуговицы, обломок гребня, медный крестик на порванном гайтане, полтинник и обрывок газеты.

Крестик Морозов взял отдельно.

Гайтан был порван не на шее — узел цел, а тесьма лопнула поперёк, там, где старая нитка перетёрлась. Стало быть, слетел сам, когда покойного ворочали.

— Ваше высокоблагородие, — сказал Гвоздёв. — Ежели его обобрали, отчего крест не сняли?

— Оттого, что медный, — сказал Морозов. — Его и на копейку не возьмут.

— И полтинник в грязи оставили.

— И полтинник, — согласился Морозов. — Значит, обирали второпях: вывернули карманы, взяли, что нашлось сразу, и ушли. Так делают не мародёры с ночлежки, Спиридон Афанасьевич. Те раздевают догола: полушубок один стоит трёх рублей.

Гвоздёв посмотрел на овчину, оставшуюся на покойном, и крякнул.

— И правда.

— И сапоги, — сказал Морозов. — Хорошие сапоги, не московские. За них на Хитровом дадут рубль с полтиной. Их не взяли.

Он поднялся, отряхнул колени и подвёл первый итог — вслух, для надзирателя и для себя:

— Стало быть, его не грабили. Его убили, вынули из карманов что-то определённое и ушли, не тронув того, что имеет цену.

Вечером, дома, он записал в тетрадь то, чего не сказал ни Гвоздёву, ни кому-либо ещё.

«14 апрѣля. Пустырь за Каланчёвской. Слѣдъ на землѣ, гаснущій, въ двухъ аршинахъ отъ руки убитаго. Вещь лежала недолго и взята.

Первый разъ въ Москвѣ за три мѣсяца».

И ниже, помедлив, приписал:

«Стало быть, они и здѣсь».

Человек с сибирскими сапогами, с глиной под ногтями и с вещью из кургана.
В Москве, в апреле четырнадцатого года.
За три недели до срока, назначенного ему на станции Тюмень.

Глава 57

Опознавать покойника Морозов начал не с ночлежек.

— По ночлежкам мы пройдём, — сказал он Гвоздёву, — и ничего там не найдём. Он в Москве человек новый: сапоги сибирские, полушубок починен дома. Он приехал не позже как за неделю.

— Откуда знаете?

— Оттуда, что полушубок ещё не завшивел, — сказал Морозов. — В московской ночлежке за неделю всякая одежда становится общей собственностью насекомых. А у него чисто.

— Стало быть, он не в ночлежке жил.

— Стало быть, он в ночлежке ночевал недолго или не ночевал вовсе. Едем на пункт.

Переселенческий пункт стоял у Рязанского вокзала: длинные бараки, кухня, баня, контора, амбулатория и постоянная толпа — мужики, бабы, дети, узлы, сундуки, самовары, куры в корзинах.

Через этот пункт из Москвы на восток шли те, кто продал в деревне всё и ехал на казённый надел в Сибирь.

А обратно, навстречу, шли другие.

Их называли обратниками.

Заведующий пунктом, чиновник переселенческого управления по фамилии Ржевусский, оказался человеком усталым, худым и на редкость толковым.

— Обратники, — сказал он, когда Морозов объяснил, зачем пришёл. — Да, у нас их много. По прошлому году через московский пункт прошло на восток восемьдесят тысяч душ, а обратно — тысяч семь.

— Отчего возвращаются?

— Оттого, что не выходит, — сказал Ржевусский. — Кому земля досталась негодная, кто хворью не выдержал, кто лошадь потерял, у кого дети померли. Едут два года, обживаются два года, а после снимаются и едут назад — уже без надела, без лошади и без денег.

— И где они у вас?

— Нигде, — сказал заведующий. — Вот в этом всё и дело, милостивый государь. Тех, кто едет туда, ведёт казна: их считают, кормят, лечат, дают ссуду. А тех, кто едет обратно, казна не ведёт никак. Они для неё неудача. Их не считают и не кормят, и на моём пункте им места не положено.

— И куда они деваются?

Ржевусский посмотрел на него.

— В город, — сказал он. — Прямо туда, на площадь. Приезжают, ночуют где придётся и добираются в свои губернии как умеют. Вы, я думаю, и нашли одного такого.

— Отчего вы так думаете?

— Оттого, что вы описали сапоги, — сказал заведующий. — Такие шьют за Уралом. У человека, ехавшего туда, их быть не может: он ещё не обжился. А у обратника — сплошь. Это, знаете, единственное, что они оттуда вывозят: сапоги и болезни.

Морозов записал.

— Списки у вас есть?

— Обратников — нет. Есть у железной дороги: они едут по льготному тарифу, а на льготу выправляется свидетельство. По этому свидетельству их считают в Челябинске и в Сызрани.

— А в Москве?

— А в Москве, — сказал Ржевусский, — им уже никто не рад.

Он помолчал и прибавил, глядя в окно, за которым во дворе пункта галдела очередь за кипятком:

— Я тут шестой год, милостивый государь. Тех, кто едет туда, я провожаю с лёгким сердцем: там земля, там будет. А обратников боюсь.

— Отчего?

— Оттого, что человек, у которого не вышло, — самый беззащитный человек на свете, — сказал заведующий. — Он два года верил, всё продал, всё вытерпел, а после сдался. Он едет домой, где над ним будут смеяться, и в кармане у него последние деньги. Такого обмануть легче лёгкого: ему уже всё равно.

— И кто их обманывает?

— Кто угодно. Артельщики, что зовут в номера. Скупщики, что берут за четверть цены. Ходатаи, что берутся выправить бумагу на новый надел. Игроки в поезде. — Он посмотрел на Морозова. — А иногда, я думаю, и хуже. Только ко мне они уже не приходят: у меня для них места нет.

Морозов записал и это.

Место, где сходятся дороги, и человек, у которого не вышло. В его прежней жизни это называлось бы иначе и происходило бы в других декорациях, а по существу было бы то же самое: кто-то всегда стоит у выхода и подбирает тех, кто выходит последним.

Со свидетельствами вышло долго.

Три дня Бекетов писал отношения в управление Московско-Казанской дороги и в контрольную часть; на четвёртый Гвоздёв сходил к знакомому кассиру и принёс то же самое за полтора часа.

Бекетов, узнав об этом, был оскорблён — не за себя, а за порядок.

— Александр Петрович, — сказал он, — сведения, полученные таким способом, к делу не подошьёшь.

— Не подошьёшь, — согласился Морозов. — Мы по ним найдём человека, а после запросим то же самое официально и подошьём ответ. Аполлинарий Львович, вы за одиннадцать лет службы в столице выучились делать всё правильно. Здесь придётся выучиться делать сначала быстро, а после правильно.

— Это, простите, софистика.

— Это Москва, — сказал Морозов. — И, между нами, в Петербурге ровно то же самое, только там об этом не говорят вслух.

За апрель месяц по льготному переселенческому тарифу в обратном направлении через Москву проследовало сто девяносто шесть человек.

Из них одиноких мужчин от тридцати пяти до сорока пяти лет — двадцать два.

Список этот Морозов разбирал двое суток, и разбирал не один: Бекетов взял на себя сверку с железнодорожными ведомостями, Гвоздёв — обход тех, кто уже отметился в московских ночлежках по видам на жительство.

Работа была та самая, за которую в его прежней жизни отвечала машина: сличить два списка, отсеять несовпадающих, оставить пересечение.

Здесь это делалось руками, и здесь это заняло двое суток вместо двух секунд.

И здесь, в отличие от машины, всякая строка была человеком, о котором приходилось выяснять, жив ли он.

Морозов взял список и начал сокращать.

Первым делом — по губерниям выхода: покойный, судя по говору... впрочем, говора его никто не слышал. Тогда по другому: по маршруту. Человек, ехавший в свою губернию, из Москвы должен был двигаться дальше, и билет ему выправлялся на конкретную дорогу.

Одиннадцать ехали на юг и юго-запад — Курск, Орёл, Полтава.

Семеро — на север и запад.

Четверо брали билет до Москвы и дальше не значились.

Четверо.

— Спиридон Афанасьевич, — сказал Морозов. — Вот наши четверо. Один из них лежит в мертвецкой.

Установили за два дня.

Двое из четверых нашлись живыми: один третью неделю жил у зятя в Дорогомилове и пропивал остатки, второй уехал в Тверь пятнадцатого числа.

Третий, по фамилии Мокеев, найден не был вовсе.

А четвёртый совпал.

Прохор Тимофеевич Скоблин, сорока одного года, крестьянин Пензенской губернии, Чембарского уезда. Выехал с семьёй в Сибирь в девятьсот девятом году по переселенческому свидетельству. Возвращался один, по льготному тарифу, свидетельство выправлено в Тюмени двадцать девятого марта тысяча девятьсот четырнадцатого года.

В Тюмени.

Морозов перечитал строку три раза и положил лист.

— Ваше высокоблагородие? — сказал Гвоздёв.

— Ничего, — сказал Морозов. — Едем в мертвецкую.

Прежде опознания Морозов сходил к московскому прозектору — не в Лефортово, а в мертвецкую при Мясницкой больнице, куда свезли покойного.

Здешний прозектор был немолод, вял и заниматься лишним не желал.

— Удар тупым орудием, затылочная область, — сказал он. — Смерть почти мгновенная. Что вам ещё?

— Мне ещё желудок, — сказал Морозов.

— Помилуйте, зачем?

— Затем, что я хочу знать, ел ли он в последние часы и что именно. Если он ел в трактире, я найду трактир. А если не ел вовсе — значит, шёл откуда-то, где не кормят.

Прозектор посмотрел на него, как смотрят на человека, придумавшего лишнюю работу, но сделал.

В желудке оказались хлеб и чай — и больше ничего.

— Стало быть, ужинал в чайной, — сказал Морозов. — Дешёвой. За пятак.

— И что вам это даёт?

— Пока ничего, — сказал Морозов. — А после будет давать час времени.

Опознали его на другой день, и опознали двое.

Первым был артельщик с Рязанского вокзала, признавший «мужика, что третьего дня спрашивал, где дешевле переночевать».

Вторым — и это сделал Гвоздёв, догадавшийся послать телеграмму в Чембарский уезд, — был родной брат покойного, приехавший через шесть дней и опознавший его по шраму на подбородке и по зубам.

Брата звали Игнат Тимофеевич, был он на четыре года старше, держал в деревне мелочную лавку и был единственным человеком в этом деле, который заплакал.

От него Морозов и узнал всё.

История была обыкновенная — то есть такая, каких по России в те годы были тысячи.

В девятьсот девятом Прохор Скоблин, имея жену и четверых детей и три десятины худой земли, продал избу, взял ссуду и уехал в Сибирь на казённый надел.

Первые письма приходили хорошие. Земли много, лес есть, дали лошадь, ссуду отработали. На третьем году — хуже: рожь вымерзла, скот пал.

В девятьсот двенадцатом умерла жена. В тринадцатом, летом, умерли двое младших.

— И он поехал домой, — сказал Игнат Тимофеевич, вытирая лицо. — В марте написал: продал всё, что было, еду. Двоих старших везу.

Морозов очень медленно положил перо.

— Двоих старших?

— Мишку и Груню, — сказал брат. — Мальчику двенадцать, девочке девять.

— Игнат Тимофеевич, а он писал, с чем едет? Деньги были при нём?

— Писал, — сказал брат. — Писал: продал дом, лошадь и всё, что было, выручил сто восемьдесят рублей, из них на билеты пойдёт сорок. Стало быть, вёз рублей полтораста.

Морозов записал.

Сто пятьдесят рублей в поясе у мужика на вокзальной площади — этого довольно, чтобы убить человека в любом городе мира и в любом веке.

— И вот ещё что, — сказал Игнат Тимофеевич. — Он в последнем письме чудное написал, я, признаться, не понял.

— Что написал?

Брат порылся за пазухой и достал сложенный вчетверо лист — письмо возил с собой, как возят такие письма.

Морозов развернул.

Почерк был неровный, крупный, с сильным нажимом — писал человек, привыкший к лопате, а не к перу.

«...А ещё, братъ, повезу тебѣ гостинецъ, каковой у насъ въ ямѣ нашли, когда колодезь копали. Мужики говорятъ, вещь старинная и за неё въ городѣ дадутъ денегъ. Я показывалъ въ Тюмени одному, онъ давалъ три рубля, а я не отдалъ, потому какъ, я думаю, она дороже стоитъ. Она, братъ, ночью свѣтится, вотъ те крестъ, и ребята боятся».

Морозов дочитал до конца, аккуратно сложил письмо и положил на стол.

Руки у него были совершенно спокойны.

— Игнат Тимофеевич, — сказал он. — Это письмо я у вас изыму под расписку. Оно вам вернётся, но не скоро.

— Берите, — сказал брат. — А что там такое-то?

— Гостинец, — сказал Морозов. — Из-за которого его, я думаю, и убили.

В комнате стало очень тихо.

— Игнат Тимофеевич. Дети. Их с ним не было.

— Как не было? — не понял тот.

— При нём никого не было, — сказал Морозов. — Его нашли одного.

Брат смотрел на него, ничего не понимая, и Морозов увидел, как до человека доходит.

Дальше пошло так, как идёт всегда, когда в деле появляются дети.

Быстро и очень скверно.

Первое, что сделал Морозов, — установил час, до которого детей ещё видели. Артельщик с Рязанского показал, что мужик спрашивал про ночлег «с двумя ребятишками» в субботу. Дальше — пустота: с воскресенья их не видел никто.

Второе: он взял у Игната Тимофеевича приметы, и приметы вышли те, какие бывают у детей, — то есть никакие. Мальчик русый, девочка русая, оба худые, одеты по-сибирски.

И третье, о чём он подумал прежде всего, но сказал вслух только Гвоздёву, отойдя в сторону.

— Спиридон Афанасьевич. Отца убили в ночь на четырнадцатое. Нынче восемнадцатое.

— Четверо суток, — сказал надзиратель.

— Четверо суток, — сказал Морозов. — И вот что мы с вами будем помнить всё это время: их, скорее всего, уже нет в живых. А искать будем так, будто они живы. Потому что если они живы, то каждый час против нас.

Морозов поднял по тревоге всё, что у него было, и поднял в тот же час, не откладывая до утра. К вечеру приметы двоих детей — мальчика двенадцати лет и девочки девяти, в сибирской одежде, говорящих на пензенский лад, — разошлись по всем частям Москвы, по вокзалам, ночлежкам, приютам, больницам и полицейским домам.

Он сделал больше: он поехал к Пересветову домой, в девятом часу вечера, чего в Москве не делали.

Пересветов жил на Пречистенке, в собственном доме, и Морозов, поднимаясь по лестнице в девятом часу вечера, отлично понимал, что делает: чиновник, явившийся к начальнику домой, либо приносит нечто чрезвычайное, либо теряет место.

Пересветов выслушал в халате, стоя у стола.

— Двое?

— Двое, ваше превосходительство. Прибыли с отцом в Москву числа десятого-одиннадцатого. Отец убит в ночь на четырнадцатое. С тех пор четвёртые сутки.

Начальник отделения помолчал ровно секунду.

— Берите людей, сколько нужно, — сказал он. — Всех, кого найдёте в отделении. И городовых по частям я через градоначальство подниму сегодня же.

— Благодарю.

— Не благодарите, — сказал Пересветов и посмотрел на него тяжело. — Александр Петрович. Вы понимаете, что мы четверо суток потеряли?

— Понимаю.

— И я понимаю, — сказал Пересветов. — Мы потеряли их оттого, что дело шло по вокзальному разряду, а по вокзальному разряду у нас ищут неделю и списывают.

Он потянулся за сюртуком.

— Идёмте. Я с вами.

Искали трое суток.

Искали так, как в Москве искали редко: Пересветов поднял через градоначальство городовых по всем частям, отделение бросило текущее, и сто с лишним человек обходили ночлежки, чайные, ярмарочные балаганы, приюты, богадельни, извозчичьи дворы и подвалы.

Морозов вёл поиск сам и построил его не по-московски, а по-своему: не расширяющимися кругами от вокзала, а от вопроса.

— Двое детей, — говорил он агентам, собрав их в четвёртом часу ночи. — Мальчик двенадцати лет, девочка девяти. Отец убит в ночь на четырнадцатое. Четверо суток они где-то живут. Спрашивайте себя: где может четверо суток прожить пара детей в чужом городе, без денег и без языка?

— Как это — без языка? — не понял кто-то.

— Они говорят по-пензенски, — сказал Морозов. — В Москве это слышно с первого слова. Значит, всякий, кто с ними заговорил, это заметил и запомнил.

Он расписал места, где детей подбирают: рынки, где им дают работу за еду; чайные, где их пускают греться; монастырские ворота, где подают; и, наконец, те дома, где детей берут не из жалости.

Последнее он не стал произносить вслух при всех, а сказал отдельно Гвоздёву и двум старшим агентам.

— Спиридон Афанасьевич, вы этот разряд знаете лучше меня. Девять лет девочке.

Гвоздёв побагровел.

— Знаю, — сказал он. — Я по этому разряду сам ходить буду.

Морозов не спал две ночи и на третью заснул сидя, в отделении, и был разбужен Гвоздёвым в шестом часу утра.

— Нашли, — сказал надзиратель.

Морозов встал.

— Живы?

— Девочка жива, — сказал Гвоздёв. — Мальчика нет.

Глава 58

Груню Скоблину нашли в Марьиной роще, в чайной у Крестовской заставы, где она третьи сутки мыла посуду за еду.

Нашёл её не агент и не городовой. Нашла её посудомойка той же чайной, сорокалетняя баба по имени Настасья, которая три дня назад пустила девочку погреться и оставила при себе, а на четвёртый услышала от разносчика газет, что по Москве ищут двоих детей из Сибири, — и пошла в полицейский дом сама.

Морозов приехал в чайную через сорок минут.

Девочка сидела в углу у печки, на низкой скамейке, и держала на коленях жестяную кружку.

Ей было девять лет. Она была маленькая для своих лет, стриженая после болезни, в чужой кофте с подвёрнутыми рукавами, и смотрела на входящих так, как смотрят зверьки в клетке: не с испугом, а с готовностью.

Морозов остановился в дверях.

— Настасья, — сказал он, не подходя. — Она ела нынче?

— Ела, — сказала посудомойка. — Я ей щей налила.

— Тогда сядьте с ней рядом и не отходите. И вот что: я к ней подойду не сразу, а вы ей скажите, кто я и зачем. Пусть от вас услышит.

Он снял пальто, сел за стол в трёх шагах и просидел так минут двадцать, пока Настасья говорила девочке вполголоса.

Потом Груня посмотрела на него сама.

Морозов подошёл и сел на пол — не на скамейку рядом, а на пол у печки, чтобы глаза оказались ниже её глаз.

— Аграфена Прохоровна, — сказал он. — Меня зовут Александр Петрович. Я из полиции. Я ищу вашего брата Мишу.

Девочка кивнула.

— Он побежал, — сказала она.

— Куда?

— Не знаю, — сказала она. — Он мне сказал: сиди тут, я приду. Я сидела.

— Сколько сидела?

— До темна, — сказала Груня. — А после холодно стало.

Разговор шёл полтора часа, с перерывами, и Морозов не задал за это время ни одного вопроса, начинавшегося со слова «почему».

Он спрашивал только о том, что можно увидеть и потрогать.

Постепенно сложилось.

Приехали они в Москву в субботу, одиннадцатого. Отец повёл их не в ночлежку, а к какому-то человеку, который встретил их на площади и сказал, что у него есть комнаты по пятиалтынному и что там чисто.

— Как он выглядел?

— Хороший, — сказала Груня. — В шапке.

— Молодой?

— Не знаю.

— С бородой?

Она подумала.

— С бородой, — сказала она неуверенно, и Морозов, слушавший за год сотни таких ответов, отметил про себя: этому верить нельзя. Девять лет, четверо суток на улице, чужой город — она сейчас согласится с любой приметой, которую ей подскажут.

Он переменил дорогу.

— Груня. А куда он вас привёл?

Вот тут пошло полезное.

Комната была в подвале. Спускались по ступенькам — она считала, семь. В комнате стояли нары в два яруса и пахло «как в бане, только холодной». Было ещё много народу, все взрослые. Ночью кто-то храпел, и Мишка не спал.

— А во дворе что было?

— Лошади, — сказала Груня. — Много. И телеги.

— Много лошадей?

— Много. И дядька их водил.

Морозов посмотрел на Гвоздёва.

Извозчичий двор с ночлегом в подвале. В Москве таких было десятки, но не всякий держал ночлежку, и не всякая ночлежка стояла в десяти минутах ходьбы от Каланчёвской площади.

— А отец ваш куда вечером ходил?

— Он с дядькой ходил, — сказала девочка. — Который нас привёл. Они пошли, и он сказал: я скоро.

— И не пришёл.

— Не пришёл, — сказала Груня и в первый раз за полтора часа заплакала — тихо, без звука, только у неё задрожал подбородок.

Дальше Морозов спрашивал ещё осторожнее.

Наутро, когда отец не вернулся, Мишка сказал: пойдём искать. Они ходили по площади весь день. К вечеру вернулись в подвал, и хозяйка — какая-то баба — сказала, что за место не плачено и чтоб уходили.

Ночевали на вокзале, в третьем классе, покуда не выгнали.

На третий день Мишка сказал сестре сидеть у чайной, а сам пошёл: он, по её словам, кого-то увидел и сказал: «Это он, что нас вёл».

И побежал за ним.

И не вернулся.

Морозов сидел на полу у печки, и всё внутри у него было очень холодно и очень ясно.

Двенадцатилетний мальчик, у которого пропал отец, увидел на площади человека, приведшего их в подвал, — и побежал за ним.

Один. В чужом городе. Без денег.

— Груня, — сказал он. — Ты умница. Ты всё правильно сделала: и что сидела, и что тётю Настасью послушалась. Теперь слушай меня. Ты поедешь со мной, и я тебя устрою в тёплом месте, где кормят. Через несколько дней приедет твой дядя Игнат из деревни и увезёт тебя домой.

— А Мишка?

— Мишку я ищу, — сказал Морозов. — Я тебе про него скажу правду, какая будет. Хорошая или плохая — скажу.

Девочка посмотрела на него внимательно и кивнула.

Показания её Морозов записал полностью — четыре страницы, — и записал не в отделении, а тут же, на конторке хозяина чайной, потому что везти ребёнка в сыскное отделение не собирался.

Настасья стояла рядом всё время и один раз сказала:

— Вы бы её не мучили.

— Я её не мучаю, — сказал Морозов. — Я её слушаю. Её четверо суток никто не слушал, Настасья. Ей это нужнее супа.

Настасья-посудомойка провожала их до двери и в дверях сказала:

— Ваше высокоблагородие. Вы уж её в приют-то не отдавайте.

— Не отдам, — сказал Морозов. — До дяди она поживёт при больнице, там сестра милосердия за ней присмотрит. Я договорился.

— Вы бы... — Баба помялась. — Вы бы, коли что, ко мне её. У меня своих нет.

Морозов посмотрел на неё.

За полтора часа он выучил про эту женщину следующее: она три дня кормила чужого ребёнка из своего котла, а на четвёртый, узнав, что девочку ищут, пошла в полицию сама, вместо того чтобы промолчать и оставить её при себе.

— Настасья, а как ваша фамилия?

— Кулагина.

Он записал.

Груню Морозов устроил в тот же вечер — не в приют, а в Мясницкую больницу, к сестре милосердия, которую нашёл через того же вялого прозектора и которая, к его удивлению, согласилась немедленно и без бумаг.

Бумаги, впрочем, он написал наутро: рапорт о помещении малолетней свидетельницы под попечение до прибытия родственника, с указанием расхода на её содержание из сумм отделения.

Пересветов, подписывая, буркнул:

— Опять расход.

— Опять, — сказал Морозов.

— Александр Петрович, а вы понимаете, что у нас на весь год отпущено на такие надобности двести рублей?

— Понимаю. Из них я истратил семнадцать.

Начальник отделения хмыкнул и подписал.

Ночлежку нашли на другой день.

Извозчичий двор Никиты Сенина в Домниковском переулке: сорок лошадей, телеги, сеновал и подвал с нарами на шестьдесят человек, сдаваемый по пятиалтынному за ночь.

Семь ступенек вниз.

Хозяйка, баба лет пятидесяти, показала: были такие, мужик с двумя детьми, ночевали с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Кто привёл — не знает, к ним всякий день ведут.

— Кто ведёт?

— Артельщики, — сказала хозяйка. — С площади. Приведут — им с ночи по копейке.

— Сколько их?

— Да человек десять, — сказала она. — Они не мои, они сами по себе.

Вот тут дело и увязло на неделю.

Неделя эта была худшая за всю московскую службу Морозова.

Он допрашивал артельщиков днём, а ночью его будили с известиями: нашли мальчика — не тот; нашли девочку — не та; в Богородском уезде видели двоих детей — оказались местные.

Пересветов дважды спрашивал, не пора ли перевести розыск в обыкновенный порядок, и дважды соглашался подождать.

А на седьмой день Гвоздёв принёс версию, которая всё объясняла.

Артельщиков было не десять, а больше двадцати, и все они были люди, живущие ровно на границе закона: официально — носильщики и посыльные, неофициально — все понемногу.

Морозов взял их всех, по одному, с разговором. За неделю он допросил девятнадцать человек, и девятнадцать человек сказали одно и то же: мужика с двумя детьми не помню, водил многих, всех не упомнишь.

И на седьмой день Гвоздёв принёс версию, которая всё объясняла.

— Ваше высокоблагородие, — сказал он. — Тут Ерёма-Косой есть. Он на площади шестой год, водит в номера, а сам, между нами, наводчик: приведёт мужика с деньгами в подвал, а ночью его обчистят. За ним два дела было, оба развалились.

— Он в те дни на площади был?

— Был.

Ерёму взяли, и Ерёма оказался ровно тем, чем описал его Гвоздёв: битым, наглым, привычным.

Он запирался двое суток, а на третьи, прижатый показаниями хозяйки ночлежки и двух своих же товарищей, признал, что мужика с детьми водил.

— Водил, — сказал он. — Ну и что? Я его в номера свёл, копейку взял, и всё.

— В какой вечер?

— В субботу.

— А в понедельник?

— В понедельник не видал.

Морозов работал с ним три дня и на исходе третьего понял, что это не тот.

Понял он это не по показаниям, а по арифметике.

У Ерёмы-Косого на ночь с тринадцатого на четырнадцатое было алиби, и алиби скверное, но настоящее: он в ту ночь сидел в участке Сущёвской части, взятый за драку в трактире, и был выпущен утром четырнадцатого.

— Вот же гнида, — сказал Гвоздёв с горечью. — И сидел-то в участке, а мы неделю потеряли.

— Не потеряли, — сказал Морозов. — Мы узнали, как это устроено. Он водит в подвал за копейку и наводит на тех, у кого есть деньги. Значит, есть кому наводить.

— Кому?

— А вот это, Спиридон Афанасьевич, и есть наш вопрос, — сказал Морозов. — Ерёма — глаз. Ерёме платят. Ищем руку.

Он вернулся в отделение поздно и застал там Бекетова, сидевшего над бумагами при лампе.

Прежде того, впрочем, был ещё один разговор — с Пересветовым, и разговор скверный.

Начальник отделения вызвал его в среду и начал не с дела.

— Александр Петрович. Из департамента пришла бумага.

Морозов сел.

— По вашему делу о Кислякове, — сказал Пересветов, и Морозов не позволил себе выдохнуть. — Запрашивают копию обвинительного акта и подробное изложение хода дознания. С пометкой: «для сведения».

— Отчего департаменту московское бытовое убийство?

— Вот и я о том, — сказал Пересветов. — Уголовный розыск у нас ведает не департамент, а судебное ведомство. Департаменту наши мужики с гирями без надобности.

Он побарабанил пальцами.

— Александр Петрович, я вам скажу, как это выглядит со стороны. Кто-то в Петербурге собирает всё, что вы делаете. Не мешает, не запрещает — собирает. Ваши акты, ваши дознания, ваш почерк.

— Зачем?

— Вот это, — сказал начальник отделения, — вы, я полагаю, знаете лучше меня.

Морозов промолчал.

Он действительно знал — вернее, догадывался, и догадка была неприятная.

Человек, собирающий дознания, ищет не преступление. Он ищет систему: как этот чиновник думает, что замечает, чего не пропускает. Так изучают не подозреваемого. Так изучают орудие — перед тем как решить, куда его применить.

— И вот ещё что, — сказал Пересветов. — В бумаге есть приписка, и приписку эту я вам прочту. «Присовокупить свѣдѣнія о состояніи здоровья и о томъ, не было ли за истекшій періодъ случаевъ, вызывающихъ сомнѣніе въ его состояніи».

— И что вы ответите?

— Правду, — сказал Пересветов. — Что за три месяца случаев не было. Их ведь не было, Александр Петрович?

— Не было, — сказал Морозов.

Он вернулся к себе, дописал текущее и застал в комнате стола Бекетова при лампе.

— Александр Петрович, — сказал Аполлинарий Львович. — Я, пока вы ходили, сделал одну вещь. Не по вашему поручению, а по своему разумению, и, ежели это лишнее, скажите.

— Что за вещь?

— Я поднял все дела по вокзальному разряду за полтора года, — сказал Бекетов. — Все убийства и все безвестные исчезновения у трёх вокзалов с осени двенадцатого. Их сто девять.

Он придвинул четыре листа, исписанных своим безукоризненным почерком.

— Из ста девяти я отобрал те, где потерпевший был приезжий, при нём не обнаружено денег, и при этом не тронуты вещи, имеющие цену: одежда, обувь, инструмент. — Он положил палец на список. — Таких оказалось семь.

Морозов взял листы и просмотрел их при лампе.

Работа была сделана так, как её сделал бы он сам, и в одном месте лучше: Бекетов не поленился выписать против каждого случая, что именно осталось при покойном, и колонка эта била в глаза сильнее всякого рассуждения.

«Полушубокъ, сапоги, шапка, ножъ». «Пиджакъ, сапоги, часы серебряные». «Тулупъ, валенки, кошель пустой».

Часы серебряные.

— Аполлинарий Львович, — сказал Морозов. — Вот тут, в четвёртом случае, часы. Их не взяли?

— Не взяли, — сказал Бекетов. — Я потому его и включил.

— Стало быть, он берёт только деньги.

— Только деньги, — сказал Бекетов. — И, Александр Петрович, я вам скажу, что меня в этом больше всего смущает. Вор берёт всё, что можно продать. А этот ведёт себя как человек, которому нужны не вещи, а сумма.

Семь дел за полтора года.

Семь человек, у которых вывернули карманы и не сняли сапог.

— Аполлинарий Львович, — сказал он. — Вы понимаете, что вы нашли?

— Понимаю, — сказал Бекетов. — Я нашёл, что их семеро, а дело у нас одно.

— Восьмеро, — сказал Морозов. — Со Скоблиным восемь. И, Аполлинарий Львович, я вам скажу, отчего это никто не увидел до вас. Не оттого, что дурно служат. Оттого, что эти семь дел лежали в семи разных частях, у семи приставов, и всякий из них видел одно своё.

Они разбирали список до второго часа ночи.

Семь случаев за полтора года, считая Скоблина — восемь.

Все восемь: приезжие. Все — мужчины от тридцати до пятидесяти. Все найдены в пределах версты от Каланчёвской площади: на пустырях, у Красного пруда, в тупиках за складами, дважды — в воде.

У всех вывернуты карманы. Ни у одного не сняты сапоги и верхняя одежда.

Пятеро опознаны, трое нет.

И вот тут, разложив пятерых опознанных по губерниям, Морозов увидел то, ради чего стоило сидеть до второго часа.

Двое из пяти были обратниками из Сибири. Ещё один — из Оренбургской губернии, но по свидетельству значился возвращающимся с переселенческого участка.

Трое из пяти.

— Аполлинарий Львович, — сказал Морозов. — Сколько всего людей проходит через московские вокзалы в год?

— Миллионы.

— А обратников — тысяч семь. То есть один на тысячу с лишним. — Он положил ладонь на список. — А у нас в этом разряде трое из пяти. Это, Аполлинарий Львович, уже не случайность. Это выбор.

Бекетов снял пенсне.

— То есть кто-то бьёт именно по ним.

— По ним, — сказал Морозов. — И это, если подумать, самая безопасная добыча в Российской империи. Приезжий, которого никто в Москве не знает. Едущий домой, где его ждут не раньше чем через месяц. С деньгами в поясе, потому что он продал всё. И — главное — тот, кого не станут искать: он для казны неудачник, для полиции вокзальный труп, а для родни он «загулял по дороге».

Глава 59

Руку искали по деньгам.

— Спиридон Афанасьевич, — сказал Морозов наутро, — рассуждаем просто. Восемь человек за полтора года, при каждом по сто — двести рублей. Это, по грубому счёту, тысяча двести, а то и полторы.

— Немалые деньги, — сказал Гвоздёв.

— Немалые, — согласился Морозов. — Но не такие, ради которых убивают восемь раз, если делить их на артель. Стало быть, делят на немногих. Двое, много трое.

— И что нам с того?

— То, что деньги эти где-то видны, — сказал Морозов. — Человек, который за полтора года получил лишнюю тысячу и живёт при вокзале, её не в банк кладёт.

Дальше пошла работа, которую он в прежней своей жизни назвал бы аналитической, а здесь она называлась «походить и посмотреть».

Прежде всего Морозов свёл в одну таблицу восемь случаев — сам, на большом листе, расчертив его карандашом.

По горизонтали: число, место обнаружения, способ, что взято, что оставлено, опознан ли, откуда ехал.

По вертикали — восемь строк.

И, глядя на эту таблицу, он увидел то, чего не видно было в списке.

Первое: все восемь убиты в понедельник, вторник или среду. Ни одного в конце недели.

— Отчего? — спросил Бекетов.

— Оттого, что поезда, — сказал Морозов. — Обратники едут не всякий день, а по расписанию льготных вагонов. Стало быть, наш человек знает расписание — то есть живёт этим.

Второе: места обнаружения ложились не вокруг площади, а вдоль трёх тропинок, ведущих от вокзалов к дешёвым ночлегам на Домниковке и к прудам.

Третье, и самое существенное: интервалы. Осень двенадцатого, зима, весна — по одному в шесть-восемь месяцев. А с осени тринадцатого — четверо за полгода.

— Он ускорился, — сказал Бекетов.

— Он ускорился, — сказал Морозов. — И это, Аполлинарий Львович, значит одно из двух: либо ему стало нужнее, либо ему стало легче. Люди, которым такое сходит семь раз, к восьмому перестают бояться.

Гвоздёв обошёл извозчичьи дворы и ночлежки в округе — не спрашивая ни о чём прямо, а высматривая, у кого за последние полтора года прибавилось.

Бекетов взял на себя бумажную часть: он поднял по казённой палате сведения о выборке промысловых свидетельств и патентов в районе трёх вокзалов за двенадцатый — четырнадцатый годы, то есть попросту установил, кто в этих кварталах за полтора года открыл своё дело.

А Морозов сделал третье.

Он вернулся к вопросу, который в этом деле был главным и о котором за две недели ни разу не заговорил вслух: где вещь.

Скоблин вёз каменную фигурку, найденную при рытье колодца. В Тюмени ему давали за неё три рубля, и он не отдал. Значит, вёз с собой. Значит, она была при нём в ночь на четырнадцатое — и её взяли.

Морозов знал, что вещь эту он опознает мгновенно и безошибочно, если только окажется рядом с ней в темноте.

И он стал ходить.

Способ был скверный, и он это понимал.

Во-первых, глупый: город велик, а он один. Во-вторых, опасный: чиновник сыскной полиции, который третий вечер подряд заходит в чайные и лавки, ничего не покупая и глядя в углы, привлекает внимание надёжнее, чем городовой с фонарём.

Он придумал, как оправдать это перед самим собой и, если понадобится, перед Пересветовым: он и вправду опрашивал. Заходил, спрашивал, не приносили ли на продажу мужских сапог сибирской работы, показывал приметы покойного, оставлял адрес отделения.

Опрос был настоящий, и в бумагу он ложился без всякой лжи.

Просто, задавая вопросы, он смотрел не на хозяина, а за прилавок.

Три вечера подряд, с восьми до полуночи, он обходил кварталы вокруг Каланчёвской площади: чайные, трактиры, мелочные лавки, извозчичьи дворы, ссудные кассы, лабазы. Заходил, спрашивал что-нибудь пустое, стоял в дверях, смотрел в тёмные углы и уходил.

На третий вечер, в лавке скупщика подержанных вещей на Домниковской, у самой двери, за прилавком, в тени между полками, он увидел свет.

Слабый и старый, выцветший, как застиранное пятно, — след вещи, лежавшей тут когда-то и давно взятой.

Морозов купил у скупщика медный подсвечник за восемьдесят копеек — ему нужно было постоять у прилавка ещё полминуты, — вышел на улицу и записал адрес.

Свет был старый. Это означало, что вещь тут лежала и её унесли не вчера: неделю назад, а то и раньше.

Стало быть, скупщик её видел и, вероятнее всего, не купил.

Лавка называлась «Ссуды и покупка вещей. С. Т. Барышев».

Прежде чем брать скупщика, Морозов сутки наводил о нём справки, потому что понимал: если Барышев успеет предупредить того, кто принёс вещь, всё кончится ничем.

Семён Тимофеевич Барышев, сорока пяти лет, мещанин, держал лавку на Домниковской девятый год. По делам сыскного отделения проходил трижды свидетелем и ни разу обвиняемым, что само по себе служило рекомендацией его ловкости. Жил с женой и тремя дочерьми в двух кварталах от лавки, дочерей учил в гимназии.

— Опять, — сказал Гвоздёв, слушая. — Опять: тихий, семейный, дочерей учит.

— Опять, — согласился Морозов. — Спиридон Афанасьевич, вы, я вижу, начали замечать. Это дурная привычка, но полезная.

Барышева взяли на другой день, и взяли аккуратно: не в лавке, а на улице, без шума, чтобы в квартале никто не заметил.

Он оказался человеком лет сорока пяти, чистеньким, обходительным, с бегающими глазами и с той особой скупщицкой манерой, при которой всякий ответ начинается со слова «помилуйте».

В лавке при обыске нашли обыкновенное: краденое серебро, три шубы без бирок и книгу залогов, в которой половина записей была вымышленная.

За это ему полагалось года три.

А за то, что Морозову было нужно, — вовсе ничего, потому что доказать это было нечем.

— Семён Тимофеевич, — сказал Морозов, начав допрос. — Я вам сразу скажу, что мне от вас надобно, чтобы вы не тратили силы на пустое. Мне не нужны ваши шубы. Мне нужна одна вещь, которую вам приносили в апреле.

— Помилуйте, — сказал Барышев. — Мне в апреле сорок вещей принесли.

— Эту вы запомнили, — сказал Морозов. — Каменная фигурка в пол-ладони. Тёмная, тяжёлая, старой работы, зверь свернувшийся.

Барышев моргнул.

Он моргнул один раз, и этого было довольно.

— Не припомню.

— Припомните, — сказал Морозов. — И я вам объясню отчего. Вы её не купили.

Скупщик посмотрел на него быстро и настороженно.

— С чего вы взяли?

— С того, что вы её в лавке подержали и отдали обратно, — сказал Морозов. — Иначе она была бы у вас, а её у вас нет — обыск был полный, я его сам вёл.

Он наклонился чуть вперёд.

— Семён Тимофеевич, я вам скажу, как это было. Вам её принесли, вы взяли её в руки и предложили полтинник. А тот, кто принёс, сказал, что за неё дают больше, и унёс. Я прав?

Барышев молчал долго.

— Рубль я давал, — сказал он наконец.

Дальше пошло легче, потому что человек, признавший малое, дальше держит оборону хуже.

Приносил её — по словам Барышева — «Митрий с Домниковки», который у него бывает по мелочи года три.

Кто таков? Живёт при извозчичьем дворе Сенина, ходит в подручных, кормится где придётся.

— Тот самый двор? — переспросил Гвоздёв.

— Тот самый, — сказал Морозов.

Митрия взяли к вечеру, и на этот раз Морозов вёл допрос по-другому — быстро, жёстко, не давая передышки, потому что перед ним сидел не расчётливый скупщик, а мелкий, испуганный и глуповатый человек лет тридцати, который врал беспорядочно и сам путался.

Через два часа он сломался и заплакал.

И рассказал.

Вещь ему дал Гурьян.

Гурьян Осипович Черемных, тридцати восьми лет, при извозчичьем дворе Сенина — старшим работником. Тот, кто в этом дворе ведал ночлежкой, принимал деньги за постой и знал каждую ночь, кто у него ночует.

— Он мне её дал в понедельник, — говорил Митрий, размазывая по лицу. — Сказал: сходи к Барышеву, спроси, чего дадут. И сказал: скажешь, что твоя.

— И вы пошли.

— Пошёл. Барышев рубль давал, я вернулся, сказал. А Гурьян обругал и говорит: дура, за неё в другом месте пять дадут, а то и десять.

Морозов положил перо.

— Отчего он так сказал?

Митрий шмыгнул носом.

— А он говорил, — сказал он, — что такие вещи скупают. Что есть человек, который за старину такую платит хорошо, только надо знать, где спросить.

— Он спрашивал?

— Не знаю. Он мне после про неё не говорил.

О Черемных Морозов прежде ареста собрал всё, что можно было собрать за сутки, — потому что брать такого человека без подготовки означало получить неделю запирательства.

Гвоздёв обошёл двор, соседние лавки и трактир.

Картина вышла ровная и на редкость благополучная.

Гурьян Осипович при дворе восьмой год. Не пьёт вовсе. Не курит. В карты не играет. Хозяин, Никита Сенин, отзывался о нём как о лучшем работнике: «Он у меня заместо приказчика, я на него всё оставляю».

С постояльцами ласков. Больным даёт кипятку без денег. Однажды, по словам трактирщика, отдал свои сапоги мужику, у которого украли обувь.

— Ваше высокоблагородие, — сказал Гвоздёв, доложив всё это. — Я, признаться, засомневался. Не тот человек.

— Тот, — сказал Морозов.

— С чего вы так уверены?

— С того, Спиридон Афанасьевич, что я за тридцать лет ни разу не встретил убийцу, о котором соседи сказали бы: дурной человек, мы всегда знали. — Он свернул таблицу. — О таких всегда говорят: тихий, работящий, детей любит. Всегда. Это, если хотите, самая надёжная примета из всех.

Гурьяна Черемных взяли ночью, на извозчичьем дворе, в его каморке при конюшне.

Он не сопротивлялся, но и не испугался, и это Морозов отметил первым: человек, поднятый с постели полицией, обыкновенно либо кричит, либо трясётся. Этот сел на койку, посмотрел на бумагу, потом на Гвоздёва, потом на двух городовых — и молча стал натягивать сапоги.

Обыск в каморке дал следующее.

Двести восемьдесят рублей, зашитые в тюфяк.

Семь пар сапог — разных размеров, ношеных, стоящих рядком под нарами.

Три пояса, кожаных, с распоротой изнанкой.

И — на дне сундука, под тряпьём, — каменная фигурка в пол-ладони, тёмная, тяжёлая, с изображением свернувшегося зверя.

Морозов взял её в руки при понятых, при свете фонаря, и не почувствовал ничего.

Он всё-таки задержал её на ладони на секунду дольше, чем требовалось для описи, — и поймал себя на этом, и рассердился.

Полтора года он ждал случая подержать одну из этих вещей в руках при обстоятельствах, когда её можно взять законно. И вот держал — и не чувствовал ни тепла, о котором говорил Севастьянов, ни тяжести, ни голоса, ни чего бы то ни было ещё.

Кусок тёмного камня в пол-ладони, весом фунта в полтора, с грубо вырезанным зверем на боку. Работа старая и, если судить непредвзято, скверная.

Из-за такого камня в этом городе за полтора года умерли восемь человек — правда, умерли не из-за него, а из-за ста пятидесяти рублей, зашитых в пояс.

И это, подумал Морозов, кладя фигурку на стол, самое отвратительное во всём деле: вещь тут ни при чём. Она просто ехала домой в тряпице у мужика, которому не повезло.

При дневном свете и при огне она была куском тёмного камня, и всё.

Он положил её на стол и велел внести в опись, и всё это время думал не о ней, а о семи парах сапог, стоявших рядком под нарами.

Восемь человек. Сапоги он снимал, но не продавал.

— Гурьян Осипович, — сказал он уже в отделении. — Отчего вы сапоги не сбывали?

Черемных посмотрел на него исподлобья.

— Хорошие сапоги, — сказал он. — Жалко.

Это была первая фраза, которую он сказал.

А главное Морозов узнал не от него.

Мальчика нашли на пятый день после ареста, и нашли не по показаниям Черемных — тот молчал о нём каменно, — а по показанию работника с того же двора, который в понедельник вечером видел, как Гурьян уводил со двора парнишку в сибирском полушубке «за ворота, к прудам».

Мишу Скоблина нашли в Красном пруду, у самого берега, под слоем прошлогодних листьев и мусора, в двухстах саженях от того места, где убили его отца.

Морозов был при этом.

Он стоял на берегу, пока его доставали, и после подписывал протокол, и лицо у него было такое, каким оно бывало на всяком осмотре за тридцать лет службы, — то есть никакое.

А вечером он пришёл к себе, сел на кровать не раздеваясь и просидел так до трёх часов ночи.

Двенадцать лет. Мальчик увидел на площади человека, который увёл его отца, и побежал за ним — потому что был двенадцатилетний и потому что больше идти было не к кому.

И Морозов знал, чего этому мальчику не хватило.

Ему не хватило четырёх суток, потерянных отделением на то, чтобы дело о вокзальном трупе пошло не по вокзальному разряду.

Утром он написал два рапорта.

Прежде того он сделал ещё одно, о чём не сказал никому.

Он поехал в больницу, где под присмотром сестры милосердия жила Груня Скоблина, и сказал ей сам.

Он не стал ни садиться на пол, ни подбирать слова. Сел на стул рядом, взял её за руку и сказал:

— Аграфена Прохоровна. Я обещал сказать правду. Мишу нашли. Он умер.

Девочка долго молчала.

— Его тот дядька? — спросила она наконец.

— Тот дядька.

— Его поймали?

— Поймали. Он сидит и больше не выйдет.

Она кивнула — коротко, по-взрослому, — и не заплакала.

Заплакала она через час, когда сестра милосердия принесла обед и оказалось, что супу налито две порции, как наливали все эти дни: одна ей, а вторая — на потом, для брата, если он найдётся.

Морозов вышел на больничный двор и постоял там, покуда не сумел вернуться.

Первый — о том, что по делу об убийстве Скоблина и других лиц надлежит производство объединить и передать в его стол все семь дел за полтора года.

Второй он писал дольше и переписывал трижды.

Это был рапорт на имя начальника отделения о необходимости изменить порядок производства по так называемому вокзальному разряду: об обязательном опознании приезжих через переселенческое управление и железнодорожные списки; о сроке не в неделю, а в месяц; и — главным пунктом — о том, чтобы во всяком случае, когда при убитом приезжем не обнаружено детей, о коих известно, что они с ним следовали, розыск таковых производился немедленно и в первую очередь, прежде розыска виновных.

Пересветов читал этот рапорт долго.

— Александр Петрович, — сказал он наконец. — Вы понимаете, что это не рапорт, а обвинение? Тут ведь читается: отделение потеряло ребёнка, потому что у нас дурной порядок.

— Так и есть, — сказал Морозов.

Начальник отделения помолчал.

— Так и есть, — согласился он. — Я его подпишу и представлю. Толку, вероятно, не будет.

— Будет, — сказал Морозов. — Не сразу. Через десять лет какой-нибудь чиновник найдёт эту бумагу в деле и напишет по ней инструкцию, и никто не вспомнит, откуда она взялась. Так оно и делается, Аркадий Ильич.

Глава 60

Гурьян Черемных заговорил на седьмой день, и заговорил не о том, о чём его спрашивали.

Первые шесть дней он молчал по-настоящему — не запирался, не отвечал уклончиво, а просто сидел и молчал, глядя в стол. Морозов работал с ним ежедневно и знал, что рано или поздно человек скажет: молчание требует сил, а сил у сидящего под стражей делается меньше с каждым днём.

На седьмой день он показал ему сапоги.

Семь пар, изъятые из-под нар, были расставлены в комнате допроса рядком у стены — по описи, с бирками.

Черемных посмотрел на них и вдруг сказал:

— Я их чистил.

— Что?

— Сапоги, — сказал он. — Всякое воскресенье чистил. Они хорошие, их беречь надо.

И заговорил.

Он говорил четыре часа, и Морозов, слушая, впервые за год с лишним в этом веке почувствовал не жалость и не отвращение, а нечто третье, чему не было названия.

За тридцать лет службы в другом веке он допрашивал таких дважды и оба раза после долго не мог работать.

Дело было не в жестокости: жестокости в Черемных как раз не было никакой. Он не мучил, не издевался, не радовался. Он бил один раз, сзади, и делал это так, как делают работу, которую надо сделать, чтобы получить деньги.

Дело было в другом. Внутри у этого человека отсутствовало то, что у прочих — даже у Дементьева, даже у Мохова — работало: сопротивление. Всякий убийца, которого Морозов знал, что-нибудь себе объяснял: страх, обиду, нужду. Этот не объяснял ничего.

Гурьян Осипович Черемных, тридцати восьми лет, крестьянин Тверской губернии, при извозчичьем дворе Сенина восьмой год. Не пил. Не играл. Не имел ни жены, ни детей, ни родни в Москве.

Он принимал деньги за постой, вёл счёт местам, топил печь, чинил упряжь и знал каждую ночь, кто у него в подвале.

И знал, у кого есть деньги.

Обратников он различал сразу — по сапогам.

— Их видно, — сказал он. — Они приходят и первым делом спрашивают: а нет ли подешевле. И полтинник считают. А сами при поясе.

Первого он убил осенью двенадцатого года — «сам не думал», по его словам: мужик расплатился, вынув пояс при нём, и Черемных, увидев, сколько там, вышел за ним следом.

Дальше пошло по семь-восемь месяцев на человека, а к последнему году — чаще.

Он не пропивал. Он зашивал в тюфяк.

— На что копили?

Черемных подумал.

— На двор, — сказал он. — Я хотел свой двор. Лошадей десять и ночлежку.

Морозов записал и это.

Человек, восемь раз убивший постояльцев ради того, чтобы завести такой же двор, в котором убивают постояльцев.

— Гурьян Осипович, — спросил он. — А сколько вам надо было?

Черемных подумал — не притворно, а по-настоящему, как считают.

— Тысячи полторы, — сказал он. — Две — лучше.

— У вас двести восемьдесят в тюфяке.

— Я тратил, — сказал он с досадой. — На жизнь тратил. Оттого и долго выходило.

Про мальчика он рассказал последним, и рассказал ровно, тем же голосом, каким рассказывал про упряжь.

Мальчик узнал его в понедельник на площади. Подбежал и спросил, где отец. Он сказал: пойдём покажу. Отвёл к прудам.

— Он же двенадцати лет, — сказал Морозов.

— Он бы сказал, — сказал Черемных.

И на этом Морозов встал и вышел из комнаты, потому что почувствовал, что ещё минута — и он сделает то, чего за тридцать лет не сделал ни разу.

Он постоял в коридоре у окна, посмотрел на московский двор, где сгребали грязный снег, сосчитал до двадцати и вернулся.

И спросил про вещь.

— Гурьян Осипович. Каменная фигурка, которая у вас в сундуке лежала. Откуда?

— От мужика того, — сказал Черемных. — От последнего. Он её в поясе держал, в тряпице, отдельно от денег.

— Отчего вы её не продали?

— Так не берут, — сказал он. — Барышев рубль давал. А мужик, покуда живой был, хвалился, что за неё десять дадут.

— Кому?

— Он говорил: в Москве есть человек, — сказал Черемных. — Который старину такую скупает и платит хорошо. Ему в Тюмени сказали, а он не пошёл: побоялся, что обманут.

Морозов положил перо.

— Кто ему сказал в Тюмени?

— Не знаю. Он говорил: там, дескать, у них всякий знает, кому носить. Кто копает — тот и знает.

Он сказал это между прочим, не понимая ценности сказанного, и Морозов записал слово в слово, а после переспросил трижды и всякий раз получил то же самое.

«Кто копает — тот и знает».

Оставался один вопрос, и Морозов задал его в конце седьмого дня, когда Черемных уже устал и отвечал почти охотно.

— Гурьян Осипович. Восемь человек. Вы их помните?

— Помню, — сказал Черемных.

— Всех?

— Всех.

— По именам?

Он подумал.

— Имён не знаю, — сказал он. — Я по сапогам помню.

Морозов посмотрел на семь пар, стоявших рядком у стены, и понял, что это и есть ответ на вопрос, которого он себе год не задавал вслух.

Человек, восемь раз убивавший, помнил своих мёртвых — но помнил не лицами и не голосами, а обувью, которую после чистил по воскресеньям.

Он не считал их людьми и не считал их вещами. Он вообще их никак не считал: они были для него погодой, обстоятельством, тем, что случается на дворе.

И в этом, подумал Морозов, вся разница между ним и теми, кого он ловил в Петербурге. Те убивали, объясняя себе; этот не объяснял ничего, потому что объяснять было некому: внутри у него никто не спрашивал.

Дело он сдал в первых числах мая.

Обвинение против Черемных Гурьяна Осипова шло по восьми эпизодам убийства с целью ограбления, из которых семь были доказаны сознанием и вещественными доказатель-

ствами — сапоги, пояса, деньги, — а восьмой, убийство Михаила Скоблина двенадцати лет, доказан сознанием, показанием работника и осмотром места.

Барышеву предъявили скупку краденого. Ерёме-Косому — соучастие в наводке, и он получил своё, хотя, по совести, не заслужил и половины того, что ему приписали товарищи.

Груню Скоблину увёз в Пензенскую губернию дядя Игнат Тимофеевич, приехавший за ней вторично.

Провожать её на вокзал пришли трое: Морозов, Гвоздёв и посудомойка Настасья Кулагина, принесшая в узелке пирогов на дорогу.

Девочка перед вагоном обернулась и сказала Морозову:

— Вы сказали, что скажете правду. Хорошую или плохую.

— Сказал, — ответил Морозов.

— Вы сказали плохую, — сказала она. — Спасибо.

И Морозов, три недели державшийся на этом деле как на службе, отвернулся и с полминуты смотрел на паровоз.

Восьмого мая его вызвал Пересветов.

На столе перед начальником отделения лежали два документа.

Первым был тот самый апрельский рапорт об отпуске в Тобольскую губернию по семейным обстоятельствам, пролежавший в столе, как и было обещано, месяц с лишним.

Вторым — рапорт Морозова от шестого мая: о необходимости командировать чиновника для поручений в Тобольскую губернию по делу об убийствах на Каланчёвской площади.

Основания в рапорте были изложены следующие.

Что при убитом Скоблине находилась вещь, принадлежность коей не установлена и которая, по показанию обвиняемого Черемных и по письму покойного, найдена при рытье колодца в месте его водворения в Тобольской губернии.

Что по показанию обвиняемого таковые вещи в означенной местности находятся неоднократно и сбываются неизвестным лицам, приезжающим за ними, каковое обстоятельство даёт основание предполагать существование правильно организованной скупки предметов, добываемых путём самовольных раскопок, что составляет самостоятельное преступное деяние.

Что из числа лиц, потерпевших по настоящему делу, трое следовали из Западной Сибири, и не исключено, что выбор их не был случаен.

И что для установления происхождения означенной вещи, а равно и круга лиц, занимающихся её добычей и сбытом, надлежит произвести дознание на месте, с выездом в Тюмень и далее по указанию местных властей.

Пересветов дочитал и поднял глаза.

— Александр Петрович, — сказал он. — Скажите мне честно, здесь, между нами. Эта ваша третья строчка — про то, что выбор их, может, не случаен, — она в деле есть?

— Она в деле есть как предположение.

— А по совести?

— По совести, — сказал Морозов, — это предположение слабое. Черемных выбирал их не оттого, что они из Сибири, а оттого, что они с деньгами и без родни.

Пересветов кивнул.

— Стало быть, вписали для веса.

— Вписал для веса, — сказал Морозов. — И, Аркадий Ильич, я вам это говорю прямо, потому что вы всё равно поймёте, а лгать вам мне невыгодно.

Начальник отделения долго смотрел на него.

— Знаете, отчего я вам подпишу? — сказал он наконец. — Не оттого, что вы мне сказали правду. И не оттого, что вы за три месяца раскрыли два дела, которые у нас лежали годами. — Он взял перо. — А оттого, что вы месяц назад подали мне рапорт об отпуске по семейным

обстоятельствам, которых у вас нет, — и, судя по всему, могли бы вписать туда что угодно, а не вписали. Вот тогда я и решил, что вам можно.

Он подписал.

— Два месяца, — сказал он. — С двенадцатого мая. Прогонные по третьему разряду, суточные казённые. Отчёт по возвращении. И, Александр Петрович...

— Слушаю.

— Что бы вы там ни искали, — сказал Пересветов, — привезите оттуда хоть одну бумагу, которую я смогу подшить. Мне ведь тоже перед кем-то отчитываться.

Прощаний было немного, и все вышли короткие.

Гвоздёв, узнав о командировке, помолчал и сказал:

— На два месяца, стало быть.

— На два.

— А вернётесь?

Вопрос был не праздный, и оба это понимали: чиновника, уехавшего в командировку на два месяца, начальство при желании может и не звать обратно.

— Вернусь, — сказал Морозов. — У меня тут семь дел в производстве и вы.

— Ну, тогда ладно, — сказал Гвоздёв и, помявшись, прибавил: — Я вам, ваше высокоблагородие, письмо дам. К свояку моему в Курган. Он там по земской части. Вы, коли что, к нему: он человек толковый и вас не выдаст.

— Отчего вы решили, что меня надо не выдавать?

Гвоздёв посмотрел на него длинно.

— А я, Александр Петрович, не спрашиваю, — сказал он. — Я, знаете, тридцать лет служу и понял одно: у всякого человека есть, чего он не рассказывает. У вас оно побольше, чем у прочих, вот и всё.

Бекетов принял стол на время отсутствия и получил от Морозова полторы страницы указаний, из которых половина касалась не дел, а людей: с кем в отделении говорить, кому не верить и почему Гвоздёва нельзя торопить.

— Александр Петрович, — сказал он, прочитав. — Вы уезжаете на два месяца в Тобольскую губернию по делу, которое вы, простите, наполовину сочинили.

— На треть, — сказал Морозов.

— Пусть на треть. — Бекетов снял пенсне. — Я не спрашиваю зачем. Я скажу одно: если вам оттуда понадобится бумага, телеграфируйте. Я вышлю в тот же день любую, какая существует в природе, и составлю её так, что к ней нельзя будет придраться.

Билет Морозов взял на двенадцатое мая, до Тюмени, третьего класса — не из скупости, а потому, что в третьем классе едут те, кого он собирался слушать всю дорогу.

Одиннадцатого вечером он собирался.

Собирать было немного: два чемодана, из которых один почти целиком занимал микроскоп Штейна, уложенный в футляр и обёрнутый бельём.

В последнюю очередь он открыл ящик стола.

Тетрадь. Две костяных пуговицы. Выписка из дневника горного инженера Нартова, начинающаяся от станции, которой он не знал год.

Теперь знал.

И четвёртое — то, что он получил три недели назад, изъяв по описи из сундука в конюшне: тёмная каменная фигурка в пол-ладони, тяжёлая не по размеру, со свернувшимся зверем на боку.

Официально она была вещественным доказательством по делу Черемных и подлежала хранению при отделении.

Морозов написал рапорт и приобщил её к материалам, направляемым с ним в командировку, «ввиду необходимости предъявления означенного предмета при дознании на месте для установления происхождения».

Рапорт был законный. Пересветов подписал не глядя.

Морозов погасил лампу и в темноте развернул тряпицу.

Фигурка светилась — ровно, густо, зелёным, дыша, — так же, как светилась застёжка с оленьей мордой, оставшаяся в шкафу петербургского отделения, и так же, как светилось сукно в витрине убитого инженера Нартова.

Он смотрел на неё долго.

Это была третья вещь, которую он держал в руках за полтора года: застёжка с оленьей мордой, бляшка из казённого шкафа — и вот эта.

И третья, о которой он знал наверняка, откуда она взялась: не из чужой витрины, не из лавки, не из описи. Её выкопал мужик, ставя колодец на своём наделе, — и повёз домой в подарок брату, потому что она ночью светилась и ребята боялись.

Полтора года назад он очнулся на полу в комнате на Свечном переулке и увидел на дверном косяке зелёное пятно, которого не видел никто.

Теперь он ехал туда, откуда эти вещи вышли.

Последним, кого он видел в Москве, был Пересветов.

Начальник отделения приехал на вокзал сам — чего Морозов не ждал вовсе — и стоял на перроне в шубе, круглый и румяный, с видом человека, вышедшего погулять.

— Александр Петрович, — сказал он. — Я вам два слова, и уеду.

— Слушаю.

— Первое: я вам подписал командировку и не жалею. Второе: в департамент о ней сообщено, как положено, отношением. Я обязан был.

Морозов кивнул. Он это предполагал и даже был этому рад: тайная поездка выглядела бы хуже открытой.

— И третье, — сказал Пересветов. — Вчера мне на неё пришёл ответ. Не запрет, не одобрение. Уведомление.

Он достал бумагу и подал.

Департамент полиции уведомлял московское сыскное отделение, что о командировании чиновника для поручений Морозова А. П. в Тобольскую губернию принято к сведению и что «объ обстоятельствахъ его пребыванія тамъ надлежитъ сообщить по возвращеніи».

— Меня будут ждать, — сказал Морозов.

— Вас будут ждать, — согласился Пересветов. — И, я думаю, не только по возвращении.

Он пожал ему руку — коротко, крепко — и пошёл к выходу, не оборачиваясь.

Двенадцатого мая, в семь часов сорок минут вечера, поезд отошёл от Николаевского вокзала.

Морозов сидел у окна в третьем классе, среди мешков, детей, самоваров и мужиков, едущих на восток, слушал, как за спиной у него спорят о цене на хлеб в Кургане, и смотрел, как уходит назад Москва.

На третьей станции от Москвы, ночью, он вышел на перрон покурить — курить он не курил, но выходил, чтобы размяться, — и постоял под фонарём, глядя на восток, где не было ничего, кроме темноты и редких огней стрелочных будок.

Полтора года назад он очнулся в чужом теле и первым делом стал читать комнату, а не себя.

За полтора года он прочёл: город, век, службу, шестерых убийц и одну собственную смерть. Он выучил здешний почерк, здешние цены и здешние правила. Он завёл людей, которые ему пишут.

И он ни на шаг не приблизился к единственному вопросу, ради которого всё это стоило терпеть: зачем.

Ответ, если он вообще существовал, лежал в трёх тысячах вёрст к востоку, в степи, под холмом с провалившейся вершиной, который местные зовут Сивой Могилой и на котором не пасут скот.

До Тюмени было четверо суток пути и три тысячи вёрст.

На станции Тюмень его должен был ждать человек, умерший в тысяча девятьсот девяносто четвёртом году в городе Челябинске от разрыва сердца, — и, судя по всему, не только он.

Глава 61

Книга тринадцатая. Сивая Могила

Дорога заняла четверо суток, и за эти четверо суток Морозов узнал о стране, в которой жил полтора года, больше, чем за всё предыдущее время.

Он ехал в третьем классе нарочно.

В третьем классе ехали те, о ком он весь апрель читал в бумагах: переселенцы. Целыми семьями, с мешками, самоварами, детьми, иконами, завёрнутыми в холстину, и с той особой дорожной обстоятельностью, при которой люди устраивают быт на четверо суток так, будто едут на четыре года.

Морозов слушал.

Разговоры в вагоне шли по кругу: сколько дают земли, сколько ссуды, где лучше — на Алтае или под Барнаулом, правда ли, что в Томской губернии лес свой, а в Тобольской болота. Одни ехали в первый раз. Другие возвращались вторично, потеряв всё в первый.

На вторые сутки, за Волгой, к нему подсел мужик лет пятидесяти, ехавший с внуком, и, узнав, что попутчик из Москвы и по казённой части, стал спрашивать о бумагах.

Морозов отвечал как умел.

А после спросил сам — и спрашивал двое суток, всех подряд, у кого была за плечами Сибирь: не находили ли у них в округе при копке чего-нибудь старинного.

Отвечали охотно.

Находили. Черепки. Кости. «Чудские копи» — старые ямы, оставшиеся от неведомо кого. Медные бляшки, которые бабы вешают детям от сглаза, а мужики продают за полтину. Один сказал, что у них в деревне мужик вырыл в бугре котёл, а в котле — «кости да зелень», и что после этого у него сгорела изба.

— И что, часто копают? — спросил Морозов.

— Кто копает? — не понял мужик.

— Бугры.

— А кто ж их не копает, — сказал мужик с удивлением. — Как посуху, так и ходят. Зимой-то мёрзло.

Морозов записал и это.

За полтора года в Петербурге и Москве он привык думать об этих вещах как о редкости: сорок восемь предметов, список на сорока одном имени, одиннадцать лет охоты.

Здесь, в вагоне третьего класса, ему за двое суток четверо разных людей рассказали, что старину копают все и всегда, что находят её каждое лето и что за неё дают полтинник.

Было в этой дороге и другое, к делу не относящееся.

На третьи сутки, где-то за Уралом, поезд встал на разъезде и простоял четыре часа. Пассажиры высыпали на насыпь, развели костерок, грели чайники; кто-то играл на гармони.

Морозов отошёл шагов на двести и постоял один.

Вокруг лежала равнина — без домов, без огней, без дороги. Небо начиналось от земли и шло до другого края земли. И в этом было нечто, чего он в своём веке не видел никогда: пустое место.

В две тысячи пятидесятом на планете не осталось мест, где нельзя было бы понять, где ты. Всякая точка была сосчитана, снята сверху, привязана к сетке и подписана. Он тридцать лет прожил в мире, который весь был известен.

А здесь он стоял на насыпи, и в двухстах шагах от поезда начиналось то, чего никто не мерил.

Он вернулся к вагону, когда дали свисток, и подумал, что впервые за полтора года завидует людям этого века — и завидует не тому, чего у них нет, а тому, что у них ещё есть.

Тюмень открылась на четвёртые сутки, к вечеру.

Первое, что отметил Морозов, глядя из окна, — это простор без вертикали. После Москвы, где всё лезло вверх колокольнями, здесь земля лежала плоско и уходила во все стороны, и небо стояло над ней огромное и низкое одновременно.

Второе — грязь. Май в Западной Сибири оказался месяцем воды: дороги развезло так, что телеги шли по ступицу.

И третье, чего он не ждал вовсе: город был большой.

Он почему-то представлял себе Тюмень уездным городком с двумя улицами. Тюмень оказалась узлом: пристани на Туре, пароходство, склады, кожевенные заводы, переселенческий пункт, через который в год проходили сотни тысяч людей, и вокзал, где эти сотни тысяч пересаживались.

Поезд встал в семь часов вечера.

Морозов вышел на перрон с чемоданом в правой руке — за год привычка беречь левую осталась, хотя бок давно зажил, — и остановился, оглядывая толпу.

Толпа была та же, что на Каланчёвской, только больше и злее: артельщики, извозчики, зазывалы от постоялых дворов, бабы с варёной картошкой, носильщики.

И в этой толпе, шагах в двадцати, стоял человек и смотрел прямо на него.

Крупный, немолодой, в чистой рубахе навыпуск под пиджаком, с непокрытой седеющей головой, с руками рабочего человека.

За девять месяцев он не изменился совсем.

— Ну, здравствуй, — сказал Гавриил Кондратьевич Свищов, подойдя. — Приехал всё-таки.

— Приехал.

— А я, знаешь, спорил сам с собой. Половина во мне говорила: не пустят его, служба. — Свищов взял у него чемодан из руки — не спрашивая, просто взял, как берут у своего. — Пойдём. Тут недалеко.

Они шли по Тюмени в сумерках, по деревянным тротуарам, положенным вдоль улиц над грязью, и Морозов молчал, потому что не знал, с чего начать.

Начал Свищов.

— Ты когда выехал?

— Двенадцатого.

— Стало быть, четверо суток. — Он покачал головой. — А я сюда девять лет назад ехал одиннадцать. Тогда ещё через Челябинск петлей возили. — Он глянул сбоку. — А в твоё время сколько?

— Из Москвы досюда — часа три.

Свищов остановился посреди тротуара.

— Три часа, — повторил он. — Тьфу ты. Вот это мне и обидно слышать. Не то, что летают, а что три часа.

Он двинулся дальше.

— Ты не думай, я не завидую. Я, брат, за двадцать лет привык. Я и не помню уже толком, как оно там было: помню, что было, а как — вылетело. Как будто книжку читал в детстве.

— Двадцать лет?

— Двадцать, — сказал Свищов. — Я тут с девятьсот четвёртого. Десять лет. А там прожил пятьдесят два. Итого шестьдесят два, а по этому телу мне шестьдесят четыре.

Он свернул в переулок.

Дом стоял на окраине, у самого спуска к Туре: не изба и не городской особняк, а нечто среднее — просторный деревянный дом с высоким крыльцом, огородом и сараями.

— Твоё? — спросил Морозов.

— Хозяйское, — сказал Свищов. — Я тут при доме. Живу восьмой месяц.

— А хозяин?

— Хозяин в отъезде, — сказал Свищов и посмотрел на него. — Он тебя примет, но не сегодня. Он велел передать: пусть господин Морозов сперва отдохнёт, а после осмотрится. И ещё велел передать, что ждать придётся дней десять.

— Десять?

— Десять. И, брат, я тебе так скажу: не спорь. Он всегда так делает. Он никогда не разговаривает с человеком, покуда тот не увидит своими глазами то, о чём разговор.

В доме было чисто, тепло и пусто.

Морозов, войдя, по привычке прочёл его — так, как читал за полтора года сотню чужих домов.

Дом был велик для одного человека: четыре комнаты, кухня, сени, чердак. Три комнаты стояли нежилые — с застеленными кроватями и без единой личной вещи. Обжитой была одна, свищовская, и в ней Морозов первым делом увидел то, чего не ожидал: стол, заваленный бумагами, и на бумагах — чертежи.

Он посмотрел ближе.

Это были расчёты. Печь: разрез, размеры, стрелки движения дыма, столбик вычислений в углу.

— Твоё?

— Моё, — сказал Свищов. — Я, брат, инженер-теплотехник. Тридцать лет по котлам. Здесь мне это без надобности — здесь мои формулы никому не объяснишь, потому что теории такой ещё нет. А руки-то помнят.

— И что вы считаете?

— Печь, — сказал Свищов. — Обыкновенную русскую печь. Я её третий год считаю и третий год не могу поверить, что она такая. Она, Александр Петрович, по нашим меркам — вещь неграмотная: половина тепла в трубу. А работает так, что в тридцать градусов мороза в избе можно спать голым.

Он собрал бумаги в стопку.

— Я тут в деревне у одного мужика перекладывал в прошлом году. Прибавил ей вершка два в поду и завиток вывел иначе. Дров стало уходить на треть меньше.

— И что мужик?

— Мужик сказал: колдун, — сказал Свищов и засмеялся. — Вот тебе и вся моя теплотехника за десять лет.

Он накормил Морозова щами, налил чаю и всё время, покуда тот ел, сидел напротив и смотрел — как смотрят на человека, приехавшего оттуда, откуда сам не вернёшься.

— Ну, — сказал он наконец. — Рассказывай. Только не про дела свои. Дела твои я знаю, мне докладывали.

— А что рассказывать?

— Как оно там, — сказал Свищов. — Ты, брат, за девять месяцев первый живой человек, которому не надо объяснять, что такое лифт.

И Морозов рассказывал — до второго часа ночи.

Он рассказывал не о технике: техника Свищова, как выяснилось, занимала меньше всего.

Он спрашивал о другом.

Живут ли люди дольше? Дольше. Насколько? Лет на двадцать. Голод есть? В большинстве мест нет. Войны? Есть, но не такие. Дети умирают? Редко.

Свищов слушал и кивал, и на последнем ответе вдруг сказал:

— Вот это главное.

— Что?

— Что дети не мрут, — сказал он. — Я, брат, тут за десять лет насмотрелся. У нас в деревне, куда я летом езжу, в позапрошлом году от кори восьмерых схоронили за месяц. Восьмерых, Александр Петрович. А ты говоришь — редко.

Он помолчал.

— Стало быть, всё-таки выправится, — сказал он. — Я, знаешь, иной раз лежу и думаю: а не зря ли всё. А после вспоминаю, что через полсотни лет корью помирать перестанут, — и вроде легче.

Морозов посмотрел на него.

Между сорока девятым годом, который помнил Свищов, и пятидесятым, который помнил он сам, лежало пятьдесят шесть лет, и в этих пятидесяти шести годах помещалось столько, что Морозов за девять месяцев так и не решил, говорить об этом или нет.

Он решил в эту минуту.

— Гавриил Кондратьевич, — сказал он. — Вы про четырнадцатый год что-нибудь помните? Из школьного?

Свищов поставил кружку.

— Помню, — сказал он. — Война помню. Летом, в августе.

— В июле, — сказал Морозов. — Двадцатого июля по здешнему счёту. Через два месяца.

Свищов долго молчал.

— Я так и думал, что ты про это спросишь, — сказал он наконец. — Я, брат, десять лет с этим живу. И тебе скажу, что понял.

— Что?

— Ничего мы с тобой не сделаем, — сказал Свищов. — Я в пятом году, когда сообразил, чего будет, хотел писать. Я даже писал: в газеты, в управление, в Академию наук. Три письма. — Он усмехнулся. — Знаешь, чем кончилось? Тем, что меня признали помешанным и увезли в больницу. Вот с этого и началось моё лечение, за которым меня после хозяин и нашёл.

Он придвинул к себе кружку.

— Так что ты, Александр Петрович, помалкивай. Не потому, что бесполезно. А потому, что тебя за это здесь запирают.

Спал он в ту ночь плохо — не от разговора, а от тишины.

За полтора года он привык к городскому шуму: в Петербурге под окном грохотали ломовики, в Москве кричали разносчики. Здесь, на окраине Тюмени, к полуночи наступала такая тишина, какой он не слышал ни разу за две прожитые жизни: ни колёс, ни голосов, ни машин. Только собака за рекой и вода.

Он лежал и думал о том, что человек, спящий сейчас за стеной, помнит девяносто четвёртый год, а он сам — пятидесятый, и что между ними пятьдесят шесть лет, которых для обоих уже не будет.

Наутро Морозов пошёл представляться.

Он приехал в командировку, и командировка была настоящая: с предписанием, с прогонными, с обязательством отчитаться. Прибывший чиновник сыскной полиции обязан явиться к местным властям, и явиться в первый же день, иначе его пребывание становится частным — а частное пребывание московского чиновника в Тобольской губернии выглядит скверно.

Тюменское уездное полицейское управление помещалось в двухэтажном каменном доме на Царской улице.

Исправника не было — уехал по уезду на две недели. Принял его помощник, коллежский секретарь Ляпунов Пётр Афанасьевич: молодой, лет тридцати, с усталым лицом и стопкой бумаг, которая на столе стояла выше настольной лампы.

Он прочёл предписание дважды.

— Из Москвы, — сказал он. — По делу о скупке предметов древности.

— Так точно.

— Александр Петрович, я вас, конечно, приму и содействие окажу. — Ляпунов отложил бумагу. — Но позвольте я вам сразу обрисую положение, чтобы вы не тратили месяц на то, что вам объяснят за пять минут.

— Прошу.

— У меня в уезде, — сказал помощник исправника, — двести тысяч душ, из них сорок тысяч переселенцев, водворённых за последние шесть лет. У меня на всё про всё двенадцать урядников. У меня за прошлый год восемьдесят два кражи со взломом, двадцать девять грабежей, одиннадцать убийств и четыреста с лишним дел о самовольных порубках. — Он развёл руками над бумагами. — И у меня нет ни одного дела о раскопках. Ни одного за шесть лет.

— Оттого что не копают?

— Оттого что копают все, — сказал Ляпунов. — Это, милостивый государь, всё равно что завести дело о том, что мужики ловят рыбу. Бугры копали до нас, копают при нас и будут копать после нас. По закону на раскопки нужен открытый лист Археологической комиссии. Открытых листов по моему уезду за шесть лет выдано... — он подумал, — два. Один Академии наук, второй какому-то приват-доценту.

— А без листа?

— А без листа — вся губерния, — сказал Ляпунов. — И преследовать я их не могу, потому что мне некем и не за что: это дело не уголовное, а по ведомству просвещения. Я вам больше скажу: я про эти находки узнаю случайно, когда мужики из-за них подерутся.

Морозов слушал внимательно.

Он ехал сюда, представляя себе организованный промысел: артели копателей, скупщики, каналы вывоза.

А оказалось — море. Сорок тысяч переселенцев, копающих землю под колодцы, погреба, фундаменты и картофельные ямы, на земле, где под каждым третьим бугром что-нибудь лежит.

Из этого моря кто-то одиннадцать лет выуживал сорок восемь определённых предметов.

— Пётр Афанасьевич, — сказал он. — А кто у вас скупает?

И вот тут молодой чиновник впервые посмотрел на него по-другому.

— Вот это, — сказал он, — вопрос по существу. Скупщики есть, и я их знаю наперечёт: в Тюмени трое, все при пристани, все с патентами, торгуют старьём и мехом. Только вам, я думаю, нужны не они.

— А кто?

— А тот, кто приезжает, — сказал Ляпунов. — Александр Петрович, у нас тут раз в год бывает ярмарка, и на ярмарку съезжается пол-Сибири. Так вот, третий год подряд по деревням перед ярмаркой ездит человек и скупает старину. Не всё подряд: он спрашивает определённое. Платит вдвое против здешней цены и не торгуется.

Морозов положил руки на колени, чтобы они лежали спокойно.

— Вы его видели?

— Не видел, — сказал Ляпунов. — Мне о нём докладывал урядник из Успенской волости, и докладывал не по делу, а между прочим: дескать, ездит барин, скупает чудское, мужики довольны. — Он помолчал. — А я, знаете, тогда запомнил и вот отчего. Урядник прибавил одну подробность, и она мне показалась дикой.

— Какую?

— Что барин этот, — сказал Ляпунов, — спрашивает у мужиков не только вещь. Он спрашивает, не помирал ли кто в доме, где она лежала.

Глава 62

В Успенскую волость Морозов выехал на третий день, и выехал не один: Ляпунов дал ему урядника, а Свищов поехал сам, объявив это так, будто иначе и быть не могло.

— Хозяин велел? — спросил Морозов.

— Хозяин велел тебе не мешать, — сказал Свищов. — А ехать со мной он не запрещал. Ты, брат, тут дороги не знаешь и говора не понимаешь. Через день бы вернулся ни с чем.

Урядник, Тимофей Ильич Бурмакин, оказался человеком лет сорока пяти, ширококостным, немногословным и знающим свой участок так, как городовой знает свой перекрёсток.

Ехали двое суток на перекладных: тракт, паром через реку, просёлок.

Дорога эта стоила Морозову больше, чем все четверо суток от Москвы.

Сибирский тракт в мае был не дорогой, а направлением: две колеи в чёрной грязи, разбитые обозами до полуаршинной глубины. Телега шла шагом. На третьем часу Морозов перестал держаться за грядку и стал держаться за собственный бок, где полгода назад его зашивали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.